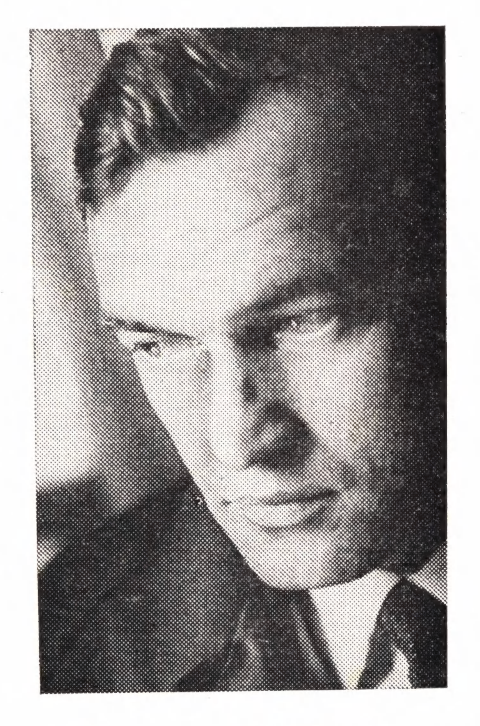
Б И Б Л И О Т Е К А



№ 28 1980

ISSN 0132-2095



Вячеслав ***ШУГАЕВ***

БИРЮЗОВЫЕ, ЗОЛОТЫ КОЛЕЧКИ

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 28

Вячеслав ШУГАЕВ

БИРЮЗОВЫЕ, ЗОЛОТЫ КОЛЕЧКИ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1980

Вячеслав ШУГАЕВ

Вячеслав Максимович Шугаев родился в 1938 году, в Татарии, в прикамском городке Мензелинске. Затем жил в Свердловске, работал на Уралмашзаводе, учился в Уральском государственном университете, на факультете журналистики. Первая книжка В. Шугаева вышла в 1959 году в Свердловске.

Долгие годы после окончания университета В. Шугаев жил в Иркутске, где стал членом СП СССР, где написал свои основные книги: «Повести о жителях Майска», «Вольному воля», «Дождь на радуницу», «Забытый сон», «Петр и Павел», «Деревня Добролет» и другие.

В. М. Шугаев — лауреат премии Ленинского комсомола.

АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ

«...этот бедный приют любви, любви непонятной, в какое-то экстатическое житие превратившей целую человеческую жизнь, которой, может, надлежало быть самой обыденной жизнью...»

И. А. Бунин «Грамматика любви».

Жена давно болела, он давно знал, что неизлечимо, и уже как бы притерпелся к предстоящей пустоте.

За гробом шел со спокойным, серым лицом — даже хлесткая октябрьская крупа не выбила живой кровинки. Шел твердо; остро, без прощального тумана в глазах, смотрел на покойницу. Сухой крупитчатый снег синё набился в складки простыни и в изголовье, вокруг ее черно-красного платка. Но бледный, желтоватый лоб, белые, костистые скулы и нос снег не тронул. «Потом полотенцем обмахну. Ладно, хоть не дождь. Нехорошо бы ей было». Справа под руку с ним шел Веня, их старший, беленький, долговязый, изревевшийся до икоты. Младшего, Васька, он вез на санках, и тот, укутанный соседками в тридцать три одежки, сидел квашонкой, важно и гордо поглядывал по сторонам сизыми, материнскими глазищами.

Веню трясло, он прижимал, стискивал отцов локоть. «Вразнос парнишка. Мужик пока не проклюнулся. И еще этот ик привязался. Ну, что он руку-то мне рвет. У могилы-то что с тобой будет? Дальше-то, ребята, как будем?»

Поднимались в горку, он неловко ступил на ледышку, поскользнулся — Веня цепко и сильно поддернул, поддержал. Кладбище устроилось на пологом, южном склоне хребтика, в кедраче, скорее даже не кладбище, а погостец: две-три стариковские могилы с крестами, две-три тесовые тумбочки со звездами — новосельное было место, как и их леспромхозовский поселок.

— Роман Прокопьич, Роман Прокопьич,— быстрым, задыхающимся шепотом окликнули его — догнала похороны диспетчерша Тоня.— Сварщик спрашивает, дверцы делать? — В гара-

же доваривали ограду, успевали к последнему прощанию. Ответил не сразу. В дверцы, конечно, попросторнее заходить, половчее, но опять же гурьбы не предвиделось и в родительский день — на всем свете втроем остались, а троим куда дверцы?

— Калитку.

Вот и первая горсть, вот и последняя — простоял без шапки, со строго сведенными бровями, все время шевеля засливевшими губами. Вроде как считал каждый камушек, каждый комок — сколько их надо, чтобы вовсе человеку исчезнуть? Гладил невнимательно Веню, прижавшегося к плечу; Васька поставил впереди, придерживая за концы шарфа. Когда могилу обхлопали лопатами, Роман Прокопьевич надел шапку.

— Все, нет у нас больше мамки,— так он хотел сказать напоследок, но губы не послушались, никто не понял его слов, разве только Веня — он сразу бросился к Ваську́ и торопливо усадил его в санки.

После поминок, после чересчур сладкой кутьи и чересчур горького вина, Роман Прокопьевич места не находил: сдавило нутро, медленно и тяжело разрасталась в нем то ли изжога, то ли другая какая муть. И соды выпил, и холодной воды — не помогло. Топал по дому, вздыхал, без нужды поправлял на Ваське́ одеяло. Видел, что Веня не спит, следил за ним большущими, белкастыми глазами. Потом сел, выпростал тонкие, белые руки:

— Пап, давай я пока с вами поживу?

— Отстанешь, Веня. А нынче экзамены. Нехорошо может выйти.

— Догоню. Что такого-то? Возьму и догоню. А мне с вами охота...

— Надо учиться, Веня. Как ни крутись, а что положено, то положено. Спи. Каждую субботу теперь приезжать будешь. Спи.

Ушел на кухню, снова выпил соды, подождал: может, зацепит эту резь, всплывет она облегчающим пузырем. Нет, как было, так и осталось. Роман Прокопьевич посидел на табурете у печки, уперев руки в колени и чуть подавшись вперед. «Ох, до чего же муторно! Вроде и не больно, а прямо деваться некуда. Хоть на стену лезь... Тошно мне, душно, и не в соде дело. Никакая сода теперь не поможет».

Понял наконец, что давит и томит его не телесная боль, а душевная, прежде никогда не являвшаяся и потому, видимо, с такою физической ясностью досаждавшая теперь. Он привык любое душевное неудобство заглушать работой или незамедлительной прикидкой своих ближайших поступков, жизненных

движений — трезвый этот расчет начисто вытеснял любую сердечную смуту. А, впрочем, бывала ли она, эта смута? Где, в какую пору?

В лесную жизнь впряжешься — по сторонам оглянуться некогда! Был вальщиком, трактористом, мастером, сейчас механик: лес, металл, зимники, лежневки, запчасти, по двое рукавиц-верхонок за неделю горело — уставал до хрипа в горле. Все как надо шло, все как у людей! А вот эта вдовая, небывало долгая ночь отделила его ото всех, обособила.

Не заметил, как сжевал папироску, обжегся, зло махнул ее к печке: «К черту! Брошу курить!» — сгреб с тумбочки неначатые пачки папирос, перекидал в топку. Вспомнил, где-то махра еще была, пошарил, пошарил, нашел в рыбацком сундучке — тоже выкинул, крошки выгреб. «И вино брошу. Ничего не надо. Так буду. Вожжи подберу, справлюсь». Еще посидел, походил, потряхивая головой, слепо таращась в углы и окна, точно придумывал, что же еще переиначить, какую еще ревизию произвести. Стало не то чтобы легче, но терпимее.

Утром поехал с Веней в райцентр. Проводил до интерната, в дверях стеснительно и чинно пожал ему руку, молча выслушал сбивчиво-звонкие сочувствия выбежавшей учительницы. Покивал ей, пошел было на автостанцию, но вспомнил еще одно дело. Ощупывая легонько языком острый скол давно сломанного зуба, постучал в дверь Лейкина, частного зубного врача.

— Давай так,— сказал плешивому, сморщенному Лейкину.— Меня все одно не заморозить.

Потом Роман Прокопьевич стоял под навесом вокзала, ждал автобуса, баюкал щеку в остывшей ладони. Подкатывало в груди, подсасывало, маялась она еще и без курева. Роман Прокопьевич тупо смотрел на вокзальную суету и, откликаясь внутренним, тошнотным толчкам, приговаривал: «Так тебе. Так тебе. А еще и не так бы надо!»

Позже он уже не пытался перешибить боль болью, начальное горе отступило, но все искал и искал новых хлопот, занявших бы ноющую, ненасытную пустоту. В гараже не хватало слесарей — выдумал себе вторую смену: уложив Васька, шел к верстаку, до полночи шабрил, пилил, нарезал, потом будил сторожа, но домой не спешил. Сидели с подслеповатым, хромым Терехуном, пили чай. После двух, трех кружек Терехун очухивался от сна:

— Парнишка-то сейчас один дома?

— Один.

— Вдруг проснется, звать начнет. А никого нет, темень кругом. Страх-то какой!

— Сообразит. Мужичок крепкий, в меня. Ни с того ни с сего не забоится. Да и с чего просыпаться-то? Меня нет, значит, спать надо.

— Мало ли что надо. Вообще шел бы, Прокопьич. А то и я вроде не у места. Кого сторожить, если ты тут? Зачем тогда будил?

— Завидно стало. Успею, уйду. Ты чего не закуриваешь, Семен?

— Ты чего по ночам шатаешься? Прокопьич? — сказал как-то Терехун.— Народ напахался, спит, а ты, выходит, двужильный? Всех переработать собрался, что ли?

— Ладно, карауль потихоньку. Пойду. Ты траву, что ли, в махру подмешиваешь? Нет? Вот ведь наловчились делать — дух-то травяной, сладкий.

К дому почти бежал — вдруг да правда Васек проснулся. Соскальзывал в кочкастые, глубокие колеи, пробитые в снегу лесовозами. Прохватывало слабым, тревожным потом, Роман Прокопьевич приостанавливался, часто глотал открытым ртом морозную темень.

Васек спал глубоко и мирно, даже не распечатав аккуратного конверта одеяла. Почти в ухо ему мурлыкал черный седой кот, поленившийся спрыгнуть с подушки при появлении хозяина. Роман Прокопьевич прогнал кота, посидел немного с Васьком, чувствуя тяжелеющие, бездельно свисшие с колен руки. Как попало разделся, огруз, закаменел поверх одеяла...

Отпустило его к лету. Садили огороды, Роман Прокопьевич копался в своем, и неожиданно потянуло его разогнуться над сырой, курящейся полынным паром землей, опереться на лопату, оглядеться. Так и сделал: на бугре, за огородом, уже согнал желтизну земляничник, тропка, промытая ручьями, весело и сыто чернела, черемуха светилась набухшими соцветьями — натягивало от нее терпким и чистым холодком. Роман Прокопьевич вздохнул раз, другой,— весенняя горчина и сладость охотно заполнили грудь.

— А что, Веня? — Роман Прокопьевич впервые пожалел, что бросил курить.— Давай за лето веранду пристроим. Варенья наварим и чаи будем на веранде гонять. Ваську, так и быть, щенка возьмем. Пусть тоже с нами чаи гоняет.

Васек заколотил грязными ладошками в пустое ведро.

— Сейчас возьмем! Сейчас! Пусть сейчас чаи гоняет!

Веня нагнулся, забрал ведро.

— Отобьешь руки-то.— Выпрямился, тоненький, большеглазый, с нежно засмуглевшими щеками.— Давай, пап, прист-

роим. И колодец уж тогда надо. Не набегаешься на реку.— Улыбнулся.— Щенок тем более будет. Водохлеб.

Васек запрыгал, руками замахал.

— И я водохлеб! И я!

— Точно, Веня. И колодец выроем.— Роман Прокопьевич взялся за лопату.— Обязательно с журавлем поставим.

Он знал, что заглазно его уже сватают, прочат в мужья вдовой фельдшерице Анисье Васильевне. И в магазине и на улице слышал, как за спиной вздыхала чья-нибудь сердобольная грудь: «И долго это маяться он будет? Усох уж совсем, почернел». Непременно вторила этому вздоху другая заспинная сваха: «И Анисья тоже одна с девчоночкой мается. Горе бы к горю, глядишь, и жизнь бы вышла».

Роман Прокопьевич всерьез еще не примерял дальнейшую жизнь, но понял: к вдовству не притерпишься, у Васька вон цыпки, как птичья роговица, а рубашки, хоть и на кулаках тертые, почему-то в пятнах и полосах — прямо корова жевала. К тому же исчезла куда-то прежняя сосредоточенность — решил — сделал,— дергался все, хватался то за дом, то за работу, и невыносимо ему было, что ни с чем не управляется.

Но и добровольным да сердобольным свахам не хотел поддаваться. «Знаю я их. От скуки хоть на дурочке Глаше женят. Их послушать — плевое дело себе жену, ребятам мать найти. Им комедия, спектакль целый, а мне дом держать. Без всяких яких, в один пригляд семью не собьешь. Другое дело, если Анисья сама этих свах напускает. Сама, может, щупальца-то раскинула. Залетит, мол, мужик, деваться ему некуда. Вроде бабочки на огонь. Только какая я бабочка?!» — Роман Прокопьевич возмутился: он и не взглянет в ее сторону, обходить за версту будет, не надо его заманивать, в спину подталкивать, дайте малость оглядеться.

Однако Анисья Васильевна вовсе не походила на женщину, привыкшую заманивать и завлекать. Дородная, статная, с азиатской крутостью в скулах и горячим сумраком в глазах, далеко слышным голосом,— уж такая-то скорее предпочтет наступать, на своем настаивать.

Попробовал разгадать ее каверзы, чтобы при надобности помешать им — не на того, мол, Анисья Васильевна, напала. Зашел в фельдшерскую, укараулив, когда там никого не было.

— Здорово, Анисья Васильевна! Заглянул вот по дороге.

— Вижу, проходи. Здравствуй, Роман Прокопьич.

— Да тут постою. Наслежу только зря. Ты мне порошков

каких-нибудь дай. Прямо ломает всего.— Ломать его, конечно, не ломало, но, переминаясь у порога, вспотел изрядно.

— Простыл, что ли? Лето на дворе, а они простывают. Хилый мужик пошел.— Она неторопливо потянулась к шкафчику на стене — весело, чисто запохрустывал накрахмаленный халат.— Держи градусник. Да не торчи в дверях-то. Садись. Поглядим, что за хворь к тебе привязалась.

— Какой там градусник! Некогда. Давай какой-нибудь порошок, да побегу.

— Я вот тебе побегу.— Анисья Васильевна сильно, резко встряхивала градусник — подрагивал черный тяжелый узел косы. Подошла к Роману Прокопьевичу, от ярко загорелых щек, от полной, нежно-смуглой шеи натянуло травяной, огородной свежестью.— Не больно, видно, ломает. Вприбежку захотел. На, ставь. Чего смотришь? Ну, чего ждешь-то?! Градусника, что ли, не видел?

Роман Прокопьевич, утираясь рукавом, вовсе смешавшись, пробормотал:

— Ты это... Анисья Васильевна... Минутку... Тут на пару минут выскочу... В гараже ждут... Потом уж приду, замеряю.

Она горячо, раскатисто возмутилась, даже замахнулась:

— Так бы и треснула этим градусником! Уговаривать еще буду! Ты чего дурака валяешь? Ломает его. Смотри, не переломись. Обойдешься. Нет, ты зачем приходил, Роман Прокопьич? Потолочься тут от нечего делать?!

— Да ладно,— слабо отмахнулся он.— Черт знает зачем. Показалось.— Выскочил, пробежался, остыл. «Пристала с этим градусником. Лечить вот ей с порога надо. Голосище-то дурной — загромыхала. Могла бы и спросить: как живу, чего ребятишки делают, тяжело, нет ли вертеться-то мне. Как положено, по-соседски. А если и так все знает, могла бы просто поговорить. О том, о сем, о прочем».

С умыслом попался ей на глаза еще раз. Замедлил шаги, усердно поздоровался: может, она остановится, разговорится, и вдруг да проглянет ее вдовья корысть. Анисья Васильевна в самом деле остановилась, но не для зазывных речей:

— Ох ты и вежливый! Опять, что ли, заболел, за версту кланяешься?

— Да неловко мне — сбежал тогда. Веришь, терпеть эту колготню не могу.

— Ясно. На здоровье не жалуюсь, вот головой только маюсь. Так, нет?

— Ну, спасибо.— Роман Прокопьевич вовсе не обиделся, но в голос подпустил обиженной мрачности.— Дураком, значит, помаленьку делаешь?

— Не засти дорогу-то, когда не надо.
— А когда надо?
— Когда рак на горе свистнет.
— Ясно. Теперь и мне все ясно. Пока.

Анисья Васильевна, смеясь, покивала часто — передразнила его давешнюю усердную приветливость.

«Нужен я ей. Думать не думает. Женщина самостоятельная, напрашиваться не будет. Правда, что головой маюсь. Ведь думал, огнем горит, только знака ждет... Нет, одно неудобство вышло. Вот чего я к ней пристал? Ясно-понятно: проморгаться и забыть».

Но не забыл. За лето так из него ребятишки да хозяйство жилы повытянули, что перед ноябрьскими, приодевшись и наодеколонившись, опять пошагал к фельдшерской. Заглянул в окна — одна. На крыльце долго обмахивал голиком сапоги, хотя снег был еще легким и мелким, не приставал. Шапку сдернул заранее в сенцах и ни «здравствуйте», ни «давно не виделись», а от порога напролом:

— Слышала, что про нас говорят?

— Слышала.— Анисья Васильевна сидела за столом, листала толстую, громоздкую книгу. Ответила спокойно, глазами встретила, не отвела, и вроде запрыгали в них холодные, сизые огоньки.

— Ну, и что скажешь?

— Да что. На чужой роток...— Только теперь занялись ее скулы темно-каленым.

— Нет, это понятно. Чего сама-то думаешь?

— Ничего.— Прокалились уже и щеки, ярким треугольным пламенем лизнуло и шею в вырезе халата.— С какой стати я думать буду? Других забот, что ли, мало?

— Да как же так, Анисья Васильевна? Что я, баб наших не знаю. Уж сто раз к тебе подступались. Им-то что-то же говорила!

— Мало ли что. Не запоминала.— Анисья Васильевна неловко встала, уронила табуретку — наклонилась, зло покраснела, тяжело шагнула было к узенькому шкафчику, тут же махнула на него: «А, к черту»,— остановилась у окна.

— А ты что за допытчик? Не совестно? С лету, с маху: что думаешь, что скажешь. Разогнался. Осади, сдай малость.— Говорила, не оборачиваясь, почти прижавшись лбом к стеклу. Руки в карманах — халат плотно обтянул большую, сильную спину, проступили пуговки лифчика.

— Не умею я издалека-то... То да се, шуры-муры — не привык.— Роман Прокопьевич сел на обитый клеенкой топчан,

беспомощно, жарко вздохнул.— По мне, чем много говорить, так лучше сразу: да — так да, нет — так нет.

— Что — да? Что — нет? — Анисья Васильевна вернулась к столу, тоже села.— Ерунду какую-то мелешь. Опять, что ли, ломает всего? — Лицо ее охватило уже какой-то брызжущей пунцовостью, появились, пропеклись черные веснушечки на азиатских скосах. Но глаза держала вскинутыми — влажный, черно-коричневый жар их заставил Романа Прокопьевича отодвинуться, заерзать на топчане, прижаться к горячим кирпичам печки.

— Вообще-то я никуда не тороплюсь... Прыть это моя дурная напрямую все хочет. И если толком-то, Анисья Васильевна, то вот я зачем. Говорят, конечно, мало ли что... Но я не против. То есть в самом деле, Анисья Васильевна, вместе нам легче будет жить.

— Вон что. Сваты пришли, а мы и не заметили.— У нее остывало лицо и оживала насмешливая громкоголосость.— Пожа-алуйте, дорогие сваты, милости просим.— Она встала, в пояс поклонилась сопревшему Роману Прокопьевичу.— У нас товар, у вас купец...

— Анисья Васильевна, ей-богу, я серьезно. Нет, так и скажи по-человечески «нет». Потом просмеешь.

— Стой-ка, стой-ка, купец-молодец.— Она уперла руки в крутые бока.— Да ведь ты еще и жених, а, Роман Прокопьич? Что ж притулился, как бедный родственник? Давай гоголем, гоголем вокруг меня.— Анисья Васильевна притопнула, белую руку в сторонку отвела.— Я невеста неплоха, выбираю жениха...— Вдруг устало обмякла, села, оперлась лбом на подставленную ладонь.— Ох, извини, Роман Прокопьич. Какая из меня невеста? И сердце закололо и в глазах потемнело...

— Давай жизнь-то поддержим, Анисья Васильевна. Вот ведь я что пришел — сообща, домом и поддержим. Я уж в одиночку-то надсажусь скоро.

— Давай попробуем,— устало согласилась она, не поднимая головы.— Давай сообща.

Роман Прокопьевич не знал, что сказать еще — в самую бы пору закурить, переждать молчание. Можно бы, конечно, за вином сбегать, событие-то в самый раз для вина, но уж больно все строго вышло, больно сурово — «нужда проклятая все гонит, все умом норовишь, сердцем некогда»

— А я, дурак, и бутылку не захватил. Просто из головы долой.— Роман Прокопьевич кулаком по колену пристукнул.— С большим бы удовольствием за тебя выпил, Анисья Васильевна.

— Успеем теперь. Какая уж бутылка.— Анисья Васильевна говорила ровно и вроде даже насмешливо, а все ж закапали на стол слезы, пролились горячие, а может, и горючие. Быстро убрала их ладонью.— Вот помолчали, считай, враз нагулялись, напровожались, наухаживались. Теперь деваться некуда.— Улыбнулась. Снова накалялись щеки и скулы.— Ладно, жених. Обниматься-целоваться пока повременим... Смех, честное слово. Чего молчишь-то? Сосватал и испугался?

Роман Прокопьевич поднялся и тоже поклонился ей в пояс — само как-то вышло.

— Спасибо тебе, Анисья Васильевна. Все-ё понимаю. Спасибо.

Повернулся, вышел, на крыльце нахлобучил вмиг выстывшую шапку на горячую, разбухшую голову.

Дома — еще со двора услышал — взвивались вперемежку визг, лай, мяуканье. Васек сидел на полу, у кровати, истошно крича, махал, тряс расцарапанной рукой. Рядом, припадая на передние лапы, тоненько вскуливал, взлаивал щенок, на рыжем носу проступали булавочные капли крови. Под кроватью, перебивая протяжное мяуканье злым пофыркиваньем, прятался кот.

Роман Прокопьевич подхватил ослепшего от рева Васька, потащил к умывальнику:

— Давай-ка, герой, сопатку твою вычистим. Ну, будет, будет выть-то. Кто это тебя? Кот, собака?

— Никто-о! Я разнимал, а они не слушались.— Васек уже стоял, невнимательно тыкал полотенцем в щеки, лоб, в подбородок — опять отвлекся, засмотрелся. Щенок, отчаянно колотя хвостом, заискивающе повизгивая, медленно вползал под кровать.

— Верный, опять получишь! — Васек с разбегу бухнулся на коленки, подкатился к щенку, схватил за шкирку.— Брысь, кому сказал — брысь! — Брызнуло из-под кровати яростное, зеленое шипение кота.

— Правда, что битому неймется.— Роман Прокопьевич веником выбил кота, веником же легонько поддал Ваську.— Все. Скоро кончится лафа. Мамка придет, разберется. Наведет порядок. По одной половице будем ходить. Да к тому же в носках. А Верный твой вообще — в мягких тапочках.— Говорил просто так, не из охоты поворчать — никогда привычки не было,— а от ощущения какой-то общей расслабленности, душевной зыбкости. «Устал — дальше некуда. Что вот мелю, спрашивается?»

Васек вроде и не слушал, занятый щенком. Мокрой тряпкой хотел стереть кровь ему с морды — тот пятился, взвивал-

ся, рвался изо всех сил. Васек наконец прижал Верного коленкой к полу, утер ему вспухший нос и, пыхтя, заприговаривал, забормотал:

— Ну, вот, а ты боялся. Мамка придет, а у нас порядок. Все лежим и спим.— Васек с усталым причмоком зевнул, а Роман Прокопьевич рассмеялся.

В субботу приехал Веня, соскучившись по Ваську, он и укладывал его в этот вечер, что-то неторопливо ласково шептал — Васек громко вздыхал и нетерпеливо, счастливым голосом требовал, когда Веня умолкал:

— Еще! Веня, еще! А он-то куда спрятался?!

Роман Прокопьевич ждал Веню на кухне. Давно стыл чай, холодно, крупитчато забелело сало на картошке, но Роман Прокопьевич не торопил его, сидел за столом, спрятав под мышками замерзшие вдруг ладони.

Веня вышел размякший, разнеженный, с сонно сощуренными глазами. Плюхнулся на табуретку.

— Ну, и Вась-карась. Еле уторкал.

Роман Прокопьевич взял стакан с чаем, прихлебнул:

— Что ты! Говорун, поискать надо. Один же все время. Намолчится, вот удержу и нет... Вот что, Веня. Жениться хочу. Дом без матери, сам видишь, разваливается.

Веня выпрямился, тревожно, горячо расширились глаза.

— Анисья Васильевна матерью будет.

Веня не сразу откликнулся.

— Мачехой, пап.

— Не должна, Веня. Женщина добрая.

— Все равно — мачехой.

— Конечно, не родная. Но я решил, Веня. Тебя вот ждал спросить. Как ты?

— Не знаю. Может, и добрая.— Веня потрогал самовар.— Я снова, пап, согрею.

— Подожди, Веня. Ты не мнись, прямо говори. Против, что ли? Или боишься?

— Меня ведь, пап, почти дома не бывает. Лишь бы Ваську хорошо было.— Веня наконец посмотрел на отца.— И тебе. А бояться чего — она веселая. Вон как в клубе пела.

— Вот я и говорю: добрая женщина. Значит, всем лучше будет. И тебе, Веня.

— Может, и мне.

Съехались, зажили, Анисья Васильевна сразу принялась белить, стирать — Роман Прокопьевич не успевал к колодцу

бегать,— потом гладила, крахмалила, перевешивала, расстилала, передвигала — дом захрустел, засверкал, заполнился яблочной свежестью вымороженного белья. В занятиях этих и хлопотах, пока руки были заняты, она привычно разговаривала сама с собой, чтобы в первую же передышку громогласно «подвести черту»:

— Нет, даже не думай, Роман Прокопьич! Никаких гостей, никакой свадьбы — обойдемся. Как сошлись прогрессивным методом, так и жить станем.

Он изумлялся:

— Я и не думаю, бог с тобой...

— Квашню поставлю в субботу: Веня приедет, посидим. Вот и отметим новоселье. Новоселье-новосемье. Ух ты, как складно!

Или объявляла со столь же неожиданным напором:

— Васька я тоже в паспорт запишу. И Веню, если согласится. Раз теперь братья Любочкины, надо записать. Чтоб честь по чести. Раз ты записал, то и я. Хоть и разные фамилии, а все равно — родня.

Роман Прокопьевич неопределенно отвечал: «Как знаешь... Если охота, что ж...» — про себя между тем удивляясь снисходительно женской вере в бумаги, в силу каких-то записей — «Записывай не записывай, как жизнь покажет, так и выйдет...»

А жизнь показала, что Любочка, пятилетняя дочь Анисьи Васильевны, легонькая, конопатенькая, белобрысенькая, не ведая того, свела их всех на первых порах, смягчила многие непременные неровности и неловкости.

Чуть ли не по приезде мягонько, но настойчиво вскарабкалась на колени Роману Прокопьевичу, он с растерянным смущением придержал щупленькое, верткое тельце — она умостилась, откинулась на кольцо рук, как на спинку.

— У тебя конфетки есть? — звонко и тоненько протянула-пропела.— И в кармане нет? Нигде нет?! А почему-у?

— Зубы болят.— Роман Прокопьевич чуть ли не краснел под ясно-наивным ее неотрывным взглядом.

Потянулась к нему, прижала теплые ладошки к впалым, щетинистым щекам.

— Не бойся, вылечим, у моей мамы лекарства много.— Ладошки скользнули по его щекам и смяли, оттопырили губы воронкой.— Скажи: «Любочка, не балуйся, Любочка, смотри у меня».

Роман Прокопьевич неожиданно поддался — промычал, прогудел:

— Люочка, не ауйся... Люочка, сотри у еня...

Она снова откинулась, как в кресле, раскатила быстренький, бисерный хохоток. Коротко посмеялась Анисья Васильевна,— обдала мимоходным, почти беззвучным смехом.

Васек давно уже стоял рядом с отцом и тяжело, ревниво сопел. Когда Любочка отсмеялась, сказал, едва сдерживая слезы и набычившись:

— Слезай давай. Это мой папа.

Любочка привстала на коленки, обняла Романа Прокопьевича за шею.

— Вот и нет! Вот и нет! Это мой папа.

Васек дернул ее за подол:

— Слезай, слезай! Не было тебя, и не надо.— Разревелся, ногами затопал.

Из кухни выскочила Анисья Васильевна: «Что такое?» Любочка выскользнула, вывернулась из рук Романа Прокопьевича, кинулась к матери:

— И мама моя, и папа мой. А ты Васька-карась, по деревьям не лазь,— припомнила Любочка уличную кличку Васька.

Он ровно и громко затянул открытым ртом: «А-а-а...»

Роман Прокопьевич поддал ему: «Ну-ка, перестань! Тоже мне мужик». Анисья Васильевна подхватила Васька на руки, прижала: «И ты мой. Пореви, пореви. Ой, как обидели-то!»

Теперь тоненько, противненько завела Любочка.

— Ох ты, господи.— Анисья Васильевна присела, прижала и ее.— Давайте в две дуды. Вот весело как стало! Ну, ну. Ревун да хныкалка — куда я с вами денусь?

Любочка справилась первой, оттолкнула материну руку и сама стала гладить Васька, дуть ему на макушку:

— Васек, Васечек. Ну, ладно, ну, хватит,— завздыхала, то ли передразнивая мать, то ли всерьез.

В воскресенье, за столом с пирогами, за самоваром, собралось, по словам Анисьи Васильевны, новосемье. Возле самовара сидели взрослые: взволнованно румяная Анисья Васильевна в жаровой кофточке с отложным воротником, потный, осоловевший от чая Роман Прокопьевич в новой жесткой белой рубахе и Веня в своем школьном, мышином костюмчике с тонкой, тревожно выпрямленной шеей и потупленно-замеревшими глазами. Сидели молча, вроде бы сосредоточившись на застольных шалостях Любочки и Васька. Они тараторили, смеялись, кричали — куролесили кто во что горазд и, вконец разойдясь, принялись строить друг другу рожи. Любочка, сморщив нос и губы, выкатив глазенки, трясла головой, потом спрашивала: «А так умеешь?» Васек, сглатывая восторженную нетерпеливую слюну, кивал и тут же косоротился, пучил

глаза. Любочка хохотала: «Умеешь, умеешь! А вот так можешь?»

Анисья Васильевна зажала уши.

— Уймитесь. Ох, и глупомордики. Лопнете сейчас, на кусочки разлетитесь. Ой, страх, ой, ужас. Васек! Не пугай ты меня!

Васек запрыгал, вовсе уж раззадоренный притворным страхом Анисьи Васильевны.

— Мама, мама! А ты вот так умеешь?! — надул щеки, одну щепоть приставил ко лбу, вторую к подбородку.

Веня по-прежнему сидел неподвижно и молча, но показалось, что он метнулся — так быстро и жарко глянул на брата, оказывается, привыкшего уже звать эту женщину мамой. Глянул, тут же спрятал глаза и покраснел. Анисья Васильевна все заметила, все поняла, запылала и, конечно же, уронила нож, а наклоняясь за ним, зацепила тарелку. Роман Прокопьевич налил еще чаю, отодвинулся от стола, как бы подчеркивая: он хочет посидеть в сторонке, помешивая, позвякивая ложечкой в стакане.

Анисья Васильевна потчевала Веню:

— А черничные-то ты и не пробовал. Ешь, пожалуйста, Веня. В интернате-то совсем отощал,— с нервным радушием приговаривала она, а Веня, не поднимая глаз, отнекивался.

Любочка и Васек притихли, чинно дули на блюдца, гоняли по ним радужные пузыри. Вдруг Любочка, как давеча на Романа Прокопьевича, уставилась на Веню с ясной, наивной пристальностью.

— Ве-ня-я! — вдруг тоненько пропела-протянула Любочка.— Ве-ня-я!

— Что тебе? — Веня, слабо улыбаясь, повернулся к ней.

— Ве-ня, Ве-ня,— пела Любочка.

— Ну, что? Что?!

Она повторяла и повторяла это слово, удивленно, радостно, ничего не добавляя к нему — ей достаточно было выпевать его чистеньким, тоненьким голоском, чтобы все поняли, как интересно видеть и звать человека по имени Веня.

Анисья Васильевна потянулась к нему через стол.

— Ты зови меня тетей Анисой. Слышишь, Вениамин? И распусти, распусти душу-то. Я дак уж не могу. Неловко пока, не по себе, ну, да и плохого ничего не сделали. Не из-за чего пока глаза-то прятать. Раз уж так вышло, Вениамин, давай противиться не будем. Слышишь?

Веня поднял глаза:

— Да я понимаю,— чуть запнулся, чуть покраснел,— тетя Аниса.

Впрягся Роман Прокопьевич в новый семейный воз и, чтобы хомут не стирал, не сбивал шею, потащил ровно, без рывков, не дожидаясь ни вожжи, ни тем более кнута. Давно, с первой своей промысловой осени, запомнил он и распространил на дальнейшую жизнь таежное правило: «Носом тыкать да понукать в лесу некому. Или сам старайся, руки наперегонки пускай, или пропадай». Так говорил дядя Игнатий, взявший когда-то его, долговязого, мосластого мальчишку, в напарники, бить орехи в Дальней тайге. В зимовье они пришли к вечеру, позади был жаркий сентябрьский день, была долгая, петлистая тропа с немеряными тягунами и спусками. Поэтому Роман Прокопьевич — в те времена просто Ромка,— скинув понягу, рюкзак таежный, плюхнулся на пенек и замер, как бы растворяясь в вечерней прохладе. Дядя Игнатий повесил понягу на крюк, под козырек зимовья, взял ведра, ушел к ключу, вернулся — парнишка малость пришел в себя:

— Чего мне делать, дядя Игнат?

Тот закурил, взял топор, подбил, подправил рассохшуюся дверь, из-за стрехи достал четвертинку с дегтем, смазал петли, потом уж ответил, да и то нехотя:

— Был бы ты парень, сразу бы прогнал. Хоть и так не маленький. И я-то хорош — взял напарника... Да, правда, и выбирать не из кого... Два кола, два двора — вот и вся деревня. Все равно. Ромка, еще так спросишь — выгоню. Сам гляди.

Стал глядеть и мигом увидел: надо дров нарубить, натаскать, сухой лапник на нарах свежим заменить, печку подмазать, дыру на крыше свежим корьем заложить. Больше он ни о чем не спрашивал дядю Игнатия, так молчком и отколотили полтора месяца...

Вот и положенную долю домашних работ справлял он незаметно и быстро. Анисья Васильевна только подумает, что надо бы воды запасти к стирке, а он уже с утра пораньше коромысло через плечо да по ведру в руки; только соберется она картошку перебрать, а он уже в подполье, поставил «летучую мышь» на приступочек и знай гнется над ларями; только захочет она послать снег со двора в огород перекидать, а он уже навстречу ей с деревянной лопатой и метлой — Анисья Васильевна руками разводила и весело возмущалась:

— Да это что такое! Мне поворчать охота, власть показать, а он? Отгадчик какой нашелся. Прямо не жизнь, а по щучьему велению да моему хотению.— Как-то даже нарочно отодрала в дровянике слабую доску, думала, не заметит, и уж тогда она в самом деле отведет душу, наворчится.

Но он заметил, приколотил, по пути проверил затем на крепость все доски ограды и палисадника. Анисья Васильевна повинилась:

— Доску-то я оторвала. Догадался, нет?

— Правильно сделала. Еле держалась, да руки не доходили.

— Больше не буду. Все ты у меня видишь, все в голове держишь. Буду теперь только хвалиться. Ну, у меня, мол, хозяин, ну, мужик.— Она вздохнула с неожиданною, сожалительной кротостью, голову этак сочувственно приклонила к плечу и руки на животе сложила.— Уж больно молчишь ты много, Роман Прокопьич. Может, хвораешь?

— Все нормально.

— Может, я что не так? Может, мной недоволен?

— Да все так. Молчится, вот и молчу.

— Если накопится что, Роман Прокопьич, не держи. Всего не перемолчишь.

— Не накопится, я не бережливый.

— Ну, и слава богу.

И точно. Он не останавливался подолгу на смущавших его или вызывавших прямо-таки душевную изжогу минутах, тем не менее минуты эти существовали, были всегда при нем, могли однажды объявиться и вволю помучить хозяина.

Когда в первую их супружескую ночь Анисья Васильевна, дремно отяжелевшая, вдруг ясным, смеющимся голосом сказала: «Теперь тебе любые семь грехов простятся»,— у него неодобрительно шевельнулось сердце, отодвинулся от прохладного, белого плеча, сухо осуждая и себя и ее за разговорчивость, спросил:

— Как так?

— Вдову приветил.— Она рассмеялась, придвинулась к нему.— Приютил-приветил, семь грехов снял.

Он опять отодвинулся, отвернулся:

— А-а. Извини, Аниса, мне чуть свет вставать.— И поморщился: «Что ж про это говорить, как язык поворачивается?»

— Спи, спи.— Анисья Васильевна полно, громко вздохнула и опять рассмеялась.— Работник ты мой.

Засыпал: «Ладно, перемелется»,— вздрагивал: «Ничего, ничего, попривыкнем»,— перед тем, как совсем провалиться: «Перебьюсь, а там наладится».

В другую ночь приподнялась на локте, полулежа устроилась в изголовье, над ним ломко прошуршала подкрахмаленная простыня, коснулись его маленькие, горячие ступни.

— Роман, расскажи, как маленьким был.

— Да разве я помню?! — Он очень удивился.— А зачем тебе?

— Ничего же не знаю. Молчишь, как прячешь что-то.

— Как я маленьким был? Да как Васек. Жил, правда, хуже. Босой, в цыпках, брюхо щавелем набито — да ничего. Кости были, мясо наросло. Маленький был, хотел большим стать — чего тут еще упомнишь? А стал большим — все работаю и работаю.

— Это я понимаю, Роман Прокопьич. Вот тебя пока понять не могу. Живем, живем, и не знаю: то ли мы сообща хозяйство ведем, то ли и друг дружке нужны... Вообще нужны, не только так вот...

— Живем ведь — разве мало? Ты подумай-ка: жизнь поддерживаем, дом есть. Нет, не мало, Анисья Васильевна.

— Вроде так. Да все равно не спокойно. Вроде сердцу воли мало. Тесно как-то, ну, и ноет, мешает. А может, кажется. Больно уж жизнь-то ты строго поддерживаешь. От гудка до гудка — и молчок.

— Дался тебе этот молчок!

— А куда его денешь? Похоже, Роман Прокопьич, что не просто ты молчишь, а сказать ничего не хочешь..

— Ну, беда. А что я должен говорить?

— Не знаю. Только не должен. Без нужды и не начинай. Нет нужды, тогда, конечно, молчи. А охота, ох, как охота, чтоб появилась она, чтоб понял ты...

— Да что понял-то?!

— Ничего.

Анисья Васильевна села, резко и зло взбила подушку, както размашисто, больно толкаясь, улеглась. Роман Прокопьевич прижался к стенке: «Вот разошлась. Нарочно так ворочается, будто нет меня тут». Она, полежав-полежав, вновь повернулась к нему:

— Может, Роман... может, ты жену забыть не можешь?

Он медленно, придерживая грудь, вздохнул:

— Ты теперь моя жена.

Замолчала и больше не шевельнулась.

«Вот же травит себя,— думал он.— Да и меня по пути. Блажь не блажь, дурь не дурь — бабий сыр-бор какой-то. Зачем Зину-то вспомнила? Судьба раскрутила — не головой же мне биться. При чем тут — забыть. Тоже жизнь была. Васек с Веней — как забудешь? Живая память, и я живой. Но отошла та жизнь, и сердце отболело. У Анисы тоже человек был, хлопоты были, муки свои. Любочка... Снова теперь начали — так чего ей надо? Живем же не тужим — обязательно, что ли, ду-

шу скрести?.. Характер, видно, на первых порах унять не может. Пускай, если так легче».

В субботу топили баню, Веня из школы не приехал — Роман Прокопьевич прождал его и пропустил первый пар. Послал Анисью Васильевну:

— Иди ребятишек купай. Я потом — все равно жар не тот.

— А я выкупаю, подтоплю — сама хоть с тобой похлещусь. Забыла, когда парилась.

Сначала повела Васька. Оттерла, отшоркала — только поворачиваться успевал — окатила: «С гуся вода, с Васеньки худоба»,— завернула в полушубок, поверх шалью затянула, в охапку его — и домой. Румяно блестели его щеки, и глаза из-под шали весело, тоже умыто — зырк, зырк.

Любочка же капризничала, противилась, выскальзывала, то пискляво закатываясь: «Ой, мама, щекотно»,— то трубно, ненатурально голося: «Мы-ыло, мыло щиплет. Пусти, не тронь»,— и с маху плюхалась на пол — Анисья Васильевна измучилась, накричалась, а одевая Любочку, не удержалась, нашлепала и, голосящую, брыкающуюся, утащила в дом.

Роман Прокопьевич открыл им дверь:

— Вот это я понимаю! Помылись, так помылись,— и вернулся к газете, оставленной на столе. Любочка мгновенно умолкла, подбежала к Роману Прокопьевичу:

— Видишь, я какая!

— Вижу, вижу.

— Ну?! — Любочка ткнулась влажным лбом в его руку.— Чего молчишь?

— С легким паром, Любочка!

— Нет, как Мустафа скажи.

— С легким банем, сэстренка.— Так говорил их сосед татарин Мустафа.

Любочка с разбега запрыгнула на кровать к Ваську:

— С легким банем, братишка! Ура-а! — Завизжали, в ладоши захлопали, ногами засучили.

Роман Прокопьевич спросил:

— Готово у тебя, нет?

Анисья Васильевна будто не слышала, старательно заглядывала на кухне в шкафчики и тумбочки.

— Подтопила ты, нет, спрашиваю?

— А когда бы я это успела?! — Она хлопнула дверцей кухонного стола, распрямилась.— Спрашивает он, барин нашелся!

— Сама же собиралась.— Роман Прокопьевич отложил газету, чуть скособочился, выглядывая в проем двери,— что это с ней?

— Я много кой-чего собиралась! — Она слепо, путаясь, натягивала телогрейку.— Вот только в домработницы не нанималась. Хоть бы предупредил, что тебе не жена, а прислуга требуется.— Ушла так резко, что конец шали прищемило дверью, чертыхаясь, приоткрыла, выдернула шаль и опять с силой вбила дверь.

В бане отошла, отмякла, и когда Роман Прокопьич нырнул, пригнувшись, в сухой, дрожащий жар, она встретила его этаким отсыревше-довольным голосом:

— Веники готовы. Пожалте париться, Роман Прокопьич.

Открыла каменку, плеснула полковшичка, и в прозрачную, раскаленную струю сунула сначала темные, тяжелые пихтовые лапы — разнесся, забил баньку смолистый хвойный дух; потом окунула в этот горячий дух не расправленные толком березовые лохмы — пролился в пихтовую гущину медленный ручеек осенней, терпкой прели.

— Ну, Роман Прокопьич, подставляй бока.

Он забрался на полок, улегся — опалило каким-то остро посвистывающим ветерком. Анисья Васильевна, меняя веники, обмахивала, овевала его, чтобы глубже, полнее раскрылась кожа для жгучего, гибкого охлеста листьев и ветвей. Потом скользом, скользом, потом впотяг, потом мелко, часто припаривая, прихлестывая от лопаток до пят, от носков до груди. Роман Прокопьевич, медленно переворачиваясь, только уркал, как сытый голубь.

Слез, малиново светящийся, с шумящей от смолисто-березового хмеля головой, нетвердо прошел к кадке — и с маху на себя один ушат, другой, третий — ледяной, колодезной; занемел на миг, застыл и вновь наполнился жаром, но уже ровным, не обессиливающим.

Анисья Васильевна поддавалась венику как-то раскидистее, вольнее, смуглое тело ее вскоре охватило темно-вишневым пылом, лишь ярко, розово-густо проступали из него соски. Слабым, рвущимся голосом попросила окатить ее тут же на полке:

— Силушек моих никаких...

Пар потихоньку схлынул, из-под пола потянуло холодком, чисто зажелтело, залучилось стекло лампочки. Отпустила и вяжущая, сонно-горячая слабость — тело наполнилось, до последней жилочки, томительной, благодатной чистотой. Анисья Васильевна, сидевшая на широкой лавке, вся потянулась, выгнулась:

— Ох ты, сладко-то как! — чуть откинулась, чуть улыбнулась, прикрыла глаза.

Роман Прокопьевич вдруг застеснялся, отвернулся к черному, слезящемуся оконцу.

— Роман! — засмеялась.— Не туда смотришь.— Придвинулась, задела, опять засмеялась.

— Да неудобно, Аниса.— В поту сидел, а все равно почувствовал, что еще потеет.— Окошко это тут...

Рывком встала, даже вскочила, схватила ковш с кадки, замахнулась:

— У! Так бы и съездила! Пень еловый.— Бросила ковш, вскинула руки, собирая волосы.— Все, Роман! Все! — Будто только что раскалились крепкие, слегка расставленные ноги, чуть оплывший, но все еще сильный живот, матерые, набравшие полную тяжесть груди — раскалились от злости, обиды, от нетерпения сорвать эту злость и обиду.

— Что все-то? — Он исподлобья взглядывал на нее.

— Больше ни кровиночкой не шевельнусь. Вот попомнишь!

После, за самоваром, причесанная, в цветастой шали на плечах, румяно-свежая, исходившая, казалось, благодушием, она неторопливо говорила:

— Черт с тобой, Роман Прокопьич. Тебя не пробьешь. Хотела, чтоб душа в душу. А ты как нанялся в мужья-то. Ладно. Раз так, то так. Вроде и семья, а вроде и служба. Вот и буду как службу тянуть.

Он не откликался, сидел в нижней рубахе, млел от рюмочки да от чая, про себя посмеивался: «Покипи, покипи. На здоровье. Пар-то и выйдет!» — еще принял рюмочку, закурил. Он теперь снова не отказывался ни от вина, ни от табака. Как и положено семейному человеку.

Конечно, Анисья Васильевна не переменилась тотчас же, на другой день, но несколько спустя домашние разговоры стали тусклее, бесцветнее. Она уже не сердилась, не язвила, не шутила — исчезла из обихода сердечность, а осталась хозяйская расторопность, привычка к хлопотам и заботам. Угасли и ночные разговоры. Но когда Роман Прокопьевич обнимал ее, не противилась, хранила должную отзывчивость.

«А грозилась: все, попомнишь! Напугала — не нарадуешься. Вот теперь у нас все чин чином. Прямо душа отдыхает» — так рассуждал Роман Прокопьевич, полностью довольный теперешней жизнью, удачно продолжившей прежнюю по знакомому и вроде бы прочному кругу.

Но вскоре заметил, себе на удивление, что довольство его непрочно, тонко и легко рвется. Возвращался с нижнего склада, где день-деньской латали кран-погрузчик, настолько дряхлый, что давно бы пора ему на кладбище, в тяжелые челюсти пресса, но и заменить его было нечем, новый-то никто не при-

пас. Латали, ладили на каком-то порывисто хлюпающем, воющем ветру, снег задувало в рукава и раструбы валенок. Да еще слесарь Сорокин, здоровый, мрачный мужик, все время пророчил:

— Рассыплется. Соберем, и рассыплется.— Гулко откашлявшись, плевал.— Ворот от кафтана. Дырка от бублика.

Роман Прокопьевич слушал, слушал его, наконец рявкнул:

— Не каркай! Рассыплется — тебя поставим.

Сорокин плюнул:

— Меня-то, конечно. В любую дыру поставь — стоять буду.

Промерзший, злой, голодный поднимался Роман Прокопьевич на крыльцо, а дома и не увидели, как он вошел. Посреди комнаты было расстелено ватное одеяло, на котором «выступал» Васек: смешно набычился и топориком тюкнулся в одеяло, медленно перевалился через голову, и в эту секунду Любочка опрокинулась над ним в мостике — два громадных красных банта в ее косичках качнулись, заскользили по зеленому верху одеяла. Анисья Васильевна устроилась сбоку, на низенькой скамеечке, хлопала в ладоши, локтями удерживая рвущегося с колен кота, негромко, певуче приговаривала:

— Ай да мы, да молодцы.— Лицо ее при этом жило ласковым, усмешливым покоем, брови раскрылились, слегка выгнулись, глаза расширились веселым, искренним интересом к ребячьей возне. Прыгал, рвался к одеялу и тут же пятился, взлаивая, щенок, тоже с бантом на шее, Любочка и Васек вскочили, красные, взъерошенные, и с серьезно-торжествующим сиянием на мордашках поклонились Анисье Васильевне, коту и щенку.

Роман Прокопьевич, тихо выглядывая от порога, вмиг согрелся, разулыбался, впрочем, и не заметил, что разулыбался, и тоже захлопал в ладоши, полез в карман за конфетами:

— Ну-ка, становись в очередь по одному!

Любочка и Васек бросились к нему.

— А мы в цирк играем! Васек — клоун, а я акробатка.— Любочка первой взлетела к нему на руки, Васек обнял его за колени.

— Дайте отцу хоть раздеться-то.— Анисья Васильевна поднялась, отошло с лица недавнее усмешливо-ласковое оживление, стало оно озабоченно-ровным, с легкою, деловитою хмурью на переносице.— Навалились — с ног собьете.

Из чугуна налила теплой воды в умывальник, на стул повесила свежеглаженый лыжный костюм, с печки достала опорки — валенки с обрезанными голенищами, которые заменяли Роману Прокопьевичу тапочки. Накрыла стол:

— Садись, ешь на здоровье.— А сама пошла прибрать в комнате после циркового представления.

Хлебал щи; потихоньку пробирало Романа Прокопьевича их прозрачно-тяжелым огнем; брал полотенце с колен, утирался, но обычного, сосредоточенно-жадного азарта к еде не было, мешало недовольство собой. «Поторопился, сильно поторопился. Надо было еще у порога постоять, посмотреть, а не в ладоши хлопать. И ребятишек спугнул и Анису. Так уж ей интересно было, так уж сладко — вроде и не в годах женщина. Прямо хоть самому кувыркайся. Может, и мне бы похлопала — черт, что-то совсем не в ту сторону меня уводит. Да, надо было еще постоять и еще посмотреть».

После обеда в воскресенье он заснул на диване. Спал недолго, за окном еще было светло, чуть только отливало начальной, сумеречной синевой. На кухне, за столом, друг против друга сидели Веня и Анисья Васильевна, говорили старательным шепотом, то есть довольно громко и со смешным присвистом на шипящих. Он видел их лица, освещаемые окном: ее, тревожно-внимательное; морщины вокруг глаз собраны с едва скорбным напряжением; его — худое, печально-смущенное; нежный кадычок судорожно и неровно бегал на тонкой шее.

— ...не знаю я, тетя Аниса. Мы на одной парте сидели, а в прошлый вторник она пересела. Не здоровается теперь.

— Может, обидел, Вениамин? Вы же сейчас дерганые все, думать некогда — раз, два, и такое ляпнете... А она девчонка, да с норовом, да не замухрышка... Нет, ты не обижайся, Вениамин, я же вообще рассуждаю... Ты-то у нас мухи не обидишь...

— Я ей только записку написал, в кино звал... А она сразу же пересела... Из рук, тетя Аниса, все валится.

— Ох, Веня. Не горюй ты так. Девчонки в ее годы все в барышни норовят. Уж и глазки строят, и круть-верть, и ровесники им не пара — дурочки, да что с ними сделаешь? Потом сами поймут. Главное, ты, Веня, ее пойми. Не обижайся, не кручинься, а пойми. Водит ее туда-сюда, а ты уж постарайся, не суди. Дай понять, что насквозь видишь, да не судишь. Что сердце у тебя понятливое. Она к тебе и потянется.

— Я не обижаюсь. Хорошо бы, как вы говорите... Только не выйдет, тетя Аниса. Ее еще в классе нет, а уже слышу — идет. Это она меня насквозь видит... А я посмотрю и уж ничего не знаю.

— И хорошо, Веня. Хорошо. Душа в тебе живая, вот и болит. Если девка с умом, да в сердце не пусто, не бойся, разберется...— Анисья Васильевна вздохнула.

Роман Прокопьевич заворочался, на кухне замолчали. «Это Верка Маякова мозги ему закрутила. Всем парень хорош, но любит слюни пускать. Не в меня... Как бы двоек не нахватал,— подумал невнимательно, точно о погоде за окном, опять приоткрыл глаза: Анисья Васильевна, косясь на комнатный проем, что-то совсем тихо шептала Вене.— Переживает за него, а он и рад стараться. Душа нараспашку. А со мной будто в рот воды... Вон ведь как она сочувствует... Мне бы, что ли, в какую историю попасть. Случилось бы что... Тоже бы, наверно, руку гладила и в глаза заглядывала... Да что мне это заглядывание далось! Должно, заболею скоро — вовсе что-то раскис. Хватит голову морочить».

Тем не менее сильно поманивало сесть сейчас напротив Анисьи Васильевны и попросить: «Посмотри на меня, ради бога, как на Веню,— дернулся, встал с дивана.— Черт! То ли опять засыпаю, то ли еще не проснулся!»

Умылся, походил, вроде развеялся. Хотел было сказать Анисье Васильевне, что вот, мол, совсем у тебя мужик свихнулся, дурней дурного желания его одолели, и надо дать ему каких-нибудь порошков — видно, застудился в этот раз на кране. Покружил, покружил вокруг нее — не сказал. Постоял, поглядел, как она чистит картошку на ужин, хоть и про себя, но не удержался, проговорил: «Посмотри ты на меня, ради бога, Аниса. Как на Веню». Стало ему смешно, стыдно до зябкости в крыльцах, быстрей за шапку и — на улицу.

Долго закрывал ставни, долго стоял у ворот, смотрел на бледненький, тощенький — одна спина да рожки — месяц. Льдисто, по-весеннему оплывшие сугробы, черная полоса дальнего леса, искристое пространство перед ним успокоили Романа Прокопьевича, и уже спокойно он подумал: «Вот что. Куплю ей какую-нибудь штуковину. Так сказать, ценный подарок. Тем более мартовский праздник скоро. Все они на подарки падкие. Вот и потешу. А там посмотрим, как обрадуется, как глядеть будет».

Утром уговорил бухгалтера выписать ему досрочно аванс и с деньгами за пазухой заторопился к магазину — хотел до открытия застать продавца одного. Тот впустил его в подсобку, запер дверь на железный крюк и, не поздоровавшись, вернулся к мешкам и ящикам, которые то ли пересчитывал до прихода Романа Прокопьевича, то ли передвигал-перетаскивал.

— Матвеич, что ты там в заначке держишь? — против воли голос заискивал с грубоватой бодростью.

Матвеич повернулся: невозмутимое лошадиное лицо, пыльно-голубые ленивые глаза.

— А ты ее видел? Заначку-то эту?

— Да должна быть. Покажешь, так увижу.

— За погляд, сам знаешь, деньги платят.— Матвеич присел, привалился к мешкам — любил человек отдыхать. Он и в магазине все приваливался — то к косяку, то к полкам с товарами.— Что надо-то?

— Анисья скоро именинница. Такое бы что-нибудь, не больно фасонистое, но не наше. Из одежи там или на ноги. Черт его знает, ничего же еще ей не покупал,— договаривал и уже понимал: напрасно договаривает, вроде разжалобить этого пыльного Матвеича хочет.

— Можно посмотреть, можно.— Матвеич вовсе уж разлегся на мешках, так, легонько только локтем подпирался.— Слушай, все спросить забывал: у тебя автокран на ходу?

— На ходу.

— Мотоцикл у меня, видел, наверное, во дворе, под клеенкой стоит. А в городе гараж сварили...— Матвеич замолчал, сел, с ленивым равнодушием уставился на Романа Прокопьевича.

— Привезем твой гараж. Ясно.— Роман Прокопьевич чуть ли не вздохнул с облегчением: слава богу, можно теперь не улыбаться через силу.— Давай короче, Матвеич. Товар на стол.

Тот вытащил из картонной коробки большой целлофановый пакет. Просвечивало коричневое вперебивку с темно-желудевым.

— Вот могу завернуть. Анисья твоя в ножки поклонится.

— Да уж. Что это за штуковина?

— Брючный костюм.— Матвеич зашелестел целлофаном.— Тройка. Штаны, маленькая вот кофточка вроде жилетки и большая кофта.

— Не смеши, Матвеич. Как она его тут наденет? За грибами разве? Или на работу в лес перейдет. Нет уж. Баба в штанах — все-таки не баба.

— Эх! Понимал бы. В городе вон от мала до велика в этих тройках ходят. В драку, считай, за ними. Старуха уже, смотришь, голова трясется, а все одно в штанах. Мода, Прокопьич. А к тому ж чистый дефицит предлагаю. Японский. Днем с огнем не сыщешь.

— Врешь, поди. Так уж и в драку.— Роман Прокопьевич и сомневался по-прежнему и проникался постепенно необычностью возможной покупки.— Из дому же меня выгонят за твою тройку. Днем с огнем, говоришь?

— Бери, Прокопьич. Точно. Откажется, у меня с руками оторвут.

— Значит, чуть чего, сдать можно? Заворачивай.

Спрятал до поры у себя в мастерской, в несгораемом ящике, где хранил наряды и дефектные ведомости, а в праздник принес домой, неловко вытащил из-под телогрейки, выложил на стол:

— Носи на здоровье, Аниса.

Молча развернула, соединила вещи на длинной лавке: сначала брюки, потом жилетку, потом кофту — пока расправляла, выравнивала каждую вещь, густо покраснела. Роман Прокопьевич стоял сбоку, засунув руки в карманы, ждал, когда же она взглянет.

Анисья Васильевна выпрямилась и, не отводя глаз от костюма, тихо сказала:

— Спасибо, Роман Прокопьич. Очень хорошая вещь.

— Как она тебе? Ничего? «Не взглянула даже. Жилочка никакая не засветилась. Глаза бы мои не смотрели на этот костюм. Навялил же, силком всучил, крыса магазинная». Угодил, нет?! — слегка повысил голос, не слыша ответа.

— Спасибо, Роман Прокопьич. Еще бы. Чистая шерсть.— Она отошла к столу и сразу переменилась, повеселела, как бы вырвавшись из некоего пасмурного пространства.— А Веня открытку прислал. Перед тобой принесли. Вот уж обрадовал! — Протянула открытку Роману Прокопьевичу.

По бокам и по верху ее шли крупные буквы, нарисованные красными чернилами, с разными завитушками, листиками, цветочками: «Лучшей женщине в мире желаю счастья»,— а в центре маленьким, аккуратным Вениным почерком было написано: «Дорогая тетя Аниса! Поздравляю с Международным женским днем, крепкого вам здоровья и большой радости. Веня».

Повертел открытку так-сяк, бросил на стол. «Откуда что берется. Сообразил. «Лучшей женщине в мире»! Как язык поворачивается? А тем более рука? Лучшая... женщина... Правда, что язык без костей».

— Он что, за тридевять земель у нас живет? Зачем писать, когда приедет сегодня? Дурачок все же еще суетливый.

Анисья Васильевна бережно взяла открытку, открыла буфет, прислонила к задней стенке.

— Божницы нет, туда бы спрятала.— Охота ей было взорваться, обидеться за себя и за Веню, но сдержалась, дрожащими руками стала сворачивать подарок Романа Прокопьевича, тройку его злосчастную.— Затем прислал, что сердце доброе.

Приедет — еще раз скажет. У доброго человека добра не убывает.

— Да разве в словах дело?

— А в чем? Думаешь, деньги перевел и обрадовал? Лишь бы отделаться. А то, что Вене костюм надо, забыл. Любочке — пальто. Ваську одеть нечего.

— Слов, знаешь, сколько можно наговорить? Причем бесплатно.

— Ну, коне-ечно!.. Нету их — так ни за какие деньги не возьмешь. Уж за этот твой костюм не выменяешь.— Она затолкала «тройку» в пакет, сунула в сундук.— А я бы поменяла. Я бы отдала, Роман Прокопьевич.— Накинула платок, взялась за полушубок.

— Далеко?

— Ребятишек позову.

Остался один, достал из буфета графин с самодельной рябиновкой, выпил стопку и сразу же другую. «Поглядела так поглядела. Дождался. Бог с ней, с обновкой. Согласен, не по вкусу, но сам факт-то могла отметить. Что вот для нее постарался. Не забыл, денег не пожалел. То есть уважаю и на все для нее готов. Поди, нетрудно порадоваться-то было, прижаться там, поцеловать, на худой конец поглядеть ласково. Нет, Венькина открытка ей дороже. Ну, Анисья Васильевна, плохо ты меня знаешь. Я ведь не остановлюсь. Как миленькая будешь и в глаза заглядывать. Еще попереживаешь за меня».

Через месяц с лишком он случайно услышал, что в конторе предлагают путевку не в очень дальний, но хороший санаторий. Его точно подтолкнуло: «Беру. Надо взять. Отправлю ее. Может, вдали-то настроится как следует, заскучает. Пускай отдыхает, на воле-то быстрее поймет, что я за человек»,— подхватился, побежал. Мимолетом вспомнил, что в санаториях этих, на разных там курортах, народ со скуки начинает бесстыдничать, семьи забывать.— Сам Роман Прокопьевич в такие места никогда не ездил и сейчас вспомнил слухи да россказни, которыми потчевали мужики друг друга в перекуры. Он, посмеиваясь над этими разбавленными веселой похабщиной байками, никогда им не верил. Разве может серьезный человек верить на слово?

В конторе узнал, что выкупать надо немедленно — побегал, побегал по поселку, у того занял, у другого — вечером положил путевку на стол.

— Вот. Отдыхать поедешь, Аниса.

Она так и села.

— Да ты что, Роман.— Придвинула путевку, рассмотрела ее, прочитала.— Да ведь целый месяц выйдет. А кто огород будет садить?

— Сами посадим.

— Никуда я не поеду. Иди, сдавай, рви, выбрасывай! Что ты все отделаться от меня хочешь? Молчит, молчит — и на тебе! Штаны носи, езжай черт знает куда!

Теперь он чуть не сел.

— Да ты что! Как отделаться? Для тебя же стараюсь. Как тебе лучше.

— Что я там забыла? Постарался, называется. Ты кому что доказываешь?

— Ничего я не доказываю.— Он не знал, что говорить, что делать, такие кошки скребли — вот уж действительно постарался.— Поезжай, Аниса, отдохни. Чего теперь.

— Не собиралась, знать не знала — не хочу. В другой раз наотдыхаюсь.

— Так куда путевку-то теперь девать?

— Куда хочешь.

— Пусть валяется. Смешить никого не буду.

— Пусть.

Он вышел не одеваясь, постоял на крыльце, замерз, но тяжелую, какую-то клубящуюся обиду не пересилил. Тогда, не заходя, улицей пошел к соседу, шоферу Мустафе играть в подкидного.

Уговорил Анисью Васильевну Веня.

— Тетя Аниса, интересно же. Справимся мы тут, поезжайте. Походите там, подышите. Надоест — вернетесь. Ну, съездите — мы вам письма будем писать. Вообще, тетя Аниса, отдыхать никогда не вредно.

— Ох, Веня. Не ко времени. Потом, кто так делает? Люди вместе ездят. Одна-то я и раньше могла... Не смотри ты на меня так! Ладно. Только ради тебя, Веня.

Уехала. Установились жаркие белесые денечки. Снег сошел за неделю, быстро высохло, запылило желтовато-белой пыльцой с опушившихся приречных тальников. После вербного воскресенья пришло от Анисьи Васильевны письмо, в котором она жаловалась на головные боли, на ветреную холодную погоду, наказывала, где что посадить в огороде, и даже план нарисовала, пометила, где какую грядку расположить. Еще спрашивала, как питаются, мирно ли живут Васек с Любочкой, как Веня готовится к экзаменам, целовала их всех, а всем знакомым кланялась. Отдельно Романом Прокопьевичем не инте-

ресовалась, никаких отдельных наказов и пожеланий ему не слала.

Оставил Любочку с Васьком играть у соседей, а сам, впервые, может, за всю жизнь пошел бесцельно по поселку, по сухим, занозистым плахам мостков-тротуаров. Встретил слесаря Сорокина, угрюмого, здорового мужика и, хоть не любил его, остановился.

— Чего шарашишься, Прокопьич? — гулко откашлявшись и плюнув, спросил Сорокин.

— Надоело по двору, вот по улице захотелось.

— Закурим, что ли, на свежем воздухе?

Закурили, постояли, потоптались.

— Слушай, Прокопьич. Ты меня на неделю отпустишь?

— Далеко?

— Лицензию свояк достал. На зверя.

— А работать кто? Дядя?

— Да я свое сделаю.

— Сделаешь — отпущу.

— Может, зайдем, прихватим? — кивнул Сорокин на магазин.

— Неохота.— Роман Прокопьевич слегка покраснел, в доме теперь было рассчитано все до копеечки — какая там выпивка.— Да и ни рубля с собой не взял.

— Ну, подумаешь, я же зову, я угощаю.

Садилось солнце за крышу конторы, розово светились кисти на кедре, твердела потихоньку, готовилась к ночному морозцу земля, и от нее уже отдавало холодом — трудно было отказаться и еще труднее согласиться Роману Прокопьевичу, свято чтившему правило: самостоятельный мужик на дармовую выпивку не позарится.

— Пошли,— все же согласился с каким-то сладким отвращением, и если бы видела его сейчас Анисья Васильевна, он бы ей сказал: «Вот до чего ты меня довела».

Посадили огород, снова набухла, завеяла холодом черемуха. Пора было встречать Анисью Васильевну. Сообща, как умели, выскребли, вымыли дом, в день приезда велел Любочке и Ваську надеть все чистое, луж не искать и два раза повторил:

— Автобус придет — бегите за мной.

Вроде и не работал, а торчал все время у окна — не бегут ли.

Любочки и Васька не было и не было, Роман Прокопьевич наконец вслух возмутился:

— Хоть бы раз по расписанию пришел!

— Ты про автобус, что ли? — спросил только что вошедший Сорокин.— Да он с час уже как у чайной стоит.

Роман Прокопьевич, забыв плащ, побежал к дому. «Не дай бог, не дай бог, если что!» — только и твердил на бегу.

Любочка и Васек сидели на крыльце.

— Приехала?! — Распаренный, багровый, от калитки выдохнул он.

Любочка приложила палец к губам.

— Мама устала, говорит, не дорога, а каторга, просила не будить,— шепотом выпалила Любочка.

Роман Прокопьевич сел рядом с ними.

«Да она что! Да она что! Видеть, что ли, не хочет?! Изведся, жить не могу, а она устала. Я ей все скажу. Это что же такое! Прямо сердца нет!»

Он вскочил и неожиданно для себя начал топтать землю возле крыльца, поначалу удивляясь, что трезвый мужик белым днем может вытворять такое, а потом уж и не помнил ничего, наливаясь темным, не испытанным прежде буйством. Топтал землю и выкрикивал:

— Я без нее! А она! Я без нее! А она...

БИРЮЗОВЫЕ, ЗОЛОТЫ КОЛЕЧКИ

Ремонтировали старинный особняк в центре города. Жильцов не выселяли, и они все как бы влились в строительную бригаду, добровольно превратившись в подсобных рабочих: вытаскивали мусор, передвигали гардеробы-буфеты, подкрашивали, подколачивали, с искательной готовностью бегали в магазин: «Уж вы, ребята, только побыстрее. Устали в этом кавардаке жить».

В одной из комнат, с лепными карнизами и зеленовато-желтым изразцовым выступом бывшей печи, плотник Федор Крылов вскрыл пол и копал траншею, очищая внутреннюю стенку фундамента. Вокруг Федора, вернее, вокруг его головы, ходила по оставленным половицам хозяйка комнаты, толстая маленькая старуха с удивительно морщинистым лицом. Морщины располагались не с обычной поперечностью — от глаз и крыльев носа к мелкой ряби на скулах,— но вдоль лица: как будто старуха попала однажды под необыкновенный дождь, и струи проточили эти желобки, а верхнюю губу, изрезав, собрали в потемневшую запылившуюся теперь гармошечку.

Старуха топталась в комнате вроде бы без дела, просто время проводила — Федору она ничем помочь не могла,— но уж так пристально заглядывала она в подполье, так внимательно провожала чуть ли не каждый взмах лопаты маленькими круглыми глазками со студенисто-белесыми наплывами на зрачках, что ясно было: старуха торчит тут неспроста.

Федор разогнулся, подтянулся на половицах, сел — ладный, плотный, с чубчиком над крепким костистым лбом, хрящеватый небольшой нос в окалине веснушек.

— Петровна, ты чего тут высматриваешь? Принесла бы попить лучше.

— Часто, Феденька, отдыхаешь. Ведро воды тебе вытаскала.— Старухе, видно, не хотелось уходить из комнаты.— Так посиди.

— А ты сама залезь, покопай — в горле как наждаком прошлись.— Он чихнул.— Едкая пыль, старинная. Лет сто ей, наверно.

— Не меньше, Феденька, не меньше. Ну, тогда подожди меня, я быстро. Сюда ведро-то принесу.— Старуха проворно, чуть не бегом вернулась из кухни с ведром, с кружкой.— Вот, Феденька. Пей на здоровье.

— Не помнишь, Петровна, сколько в ведре воды спирту содержится? Может, ты мне его в чистом виде?

— Ни стыда у вас, ни совести. С утра вымогаете. Да за такие мучения вы нам каждый день подносить должны. Хуже квартирантов живем — все вам угодить не можем.

— А мы — вам.— Федор спрыгнул, взялся за лопату.

Старуха опять зорко склонилась над ним. Вот лопата, как бы взбрызнув, ударилась о железо, заскрежетала по нему — Федор подвел лопату поглубже, поддел что-то, нажал на черенок посильнее. С глухим, пружинным дребезгом надломилось что-то, и тотчас послышался легкий, сыпучий звон. Федор потянул лопату на себя — увидел на ее ладони какие-то пыльные кольца, колечки, обрывок тонкой цепи — на такой примерно он держал своего Шарика.

— Ребя...— закричал было Федор, желая созвать товарищей, но старуха быстро, сильно залепила ему рот сухой, мягкой ладошкой, пахнувшей ванилью и валерьяновыми каплями.

— Молчи, Феденька, молчи,— спокойным, даже ласковым шепотком говорила старуха и, не отнимая ладони от его рта, по Федору сползла в подполье.— Без дружков твоих обойдемся.

Он наконец вывернулся из-под ладони:

— Ну, ты даешь, Петровна! Пусть ребята посмотрят, что я тут за ерундовину откопал! Жалко, что ли?

— Вас тут, Феденька, целая орава. Или на двоих разделить, или на ораву. Есть разница?

— Да что делить-то?

— А вот сейчас посмотрим. У меня и свечка под рукой оказалась.— Старуха достала из жакетки огарок.— Чиркни-ка, Феденька.

Наклонились над развороченным железным сундучком.

— Насквозь проржавел,— заметил Федор.— Потому так легко и подался.

Серой грудкой лежали на клочках полуистлевшей голубой материи кольца, браслеты, перстни, цепочки, серьги, часы и тьма других, неизвестного Федору назначения, загогулинок и закорючек. Все это в наростах закаменелой пыли, хлопьях ржавчины, в подтеках шелушащейся плесени.

— На вид твое сокровище, Петровна, плюнуть и растереть. Боязно взяться.

Старуха стояла уже на коленях, расстелила белый платок и, сделав ладони ковшиком, зачерпнула сверху груды. Потрясла, позвенела, замерла, прислушиваясь, и осторожно пересыпала на платок. Второй ковшик был пожадней, позагребистей, земля из-под коленок поехала, и старуха опрокинула свечку. В темноте, вернее, в черно-серых плотных сумерках Федор успел заметить, что старуха, поправляясь, сунула горсть в карман жакетки. Федор рассмеялся, зажигая спичку:

— Смотри, как тебя разобрало. Что ж ты сразу жульничать-то? Еще и в утайку хочешь. Раз уж теперь компаньоны, так уж давай без воровства.

— Само по себе, Феденька, вышло. Ей-богу, не хотела. Сами руки-то сблудили.

— Петровна, а как это ты свечку сообразила? Будто готовилась. Знала, что ли?

— Чуяла, Феденька. Как вы дом-то начали потрошить, так я свечку с собой и таскаю. Все в стенках ждала. Уж и постукивала, ходила. В щели ножом тыкала. Газеткам верить, так обычно в стенках находят.

— Но почему ждала-то? Приснилось, знак был, план, может, какой на обоях нарисованный? Ты не темни, Петровна. Все теперь говори.

— Говорю, чуяла. Мало этого, да? Неспокойствие появилось. Куда бы ни шла, что бы ни делала, только об этом думала. Вот сегодня ты копать начал, а я места не нахожу. Люди здесь богатые жили. Прятать было что.

— Между прочим, Петровна, в газетках-то пишут, что сдавать надо. Нашел — отдай. А тебя наградят. Про это ты как, не вычитала?

— А я сама себя, Феденька, награжу. Сколько лет в земле валялось, никому не надо было. А тут нашел, отдай. Разбежалась, держите меня. Нет, Феденька. Государство не обедняет, тем более неизвестно ему ничего. Если, конечно, ты язык не распустишь. Я тоже государству не чужая. Да уж и жизни немного осталось. Вот и будет обеспеченная старость. Так бы валялось и валялось. А тут хоть двоим людям польза.

— Ну, уж я-то ему и подавно не чужой. Худо-бедно, а в его пользу стараюсь. Так ты считаешь, золото мы нашли?

— А что другое в сундуках в землю закапывают? Оловянные ложки?

— Мало ли. Вдруг да и не золото.

— Тогда, Феденька, и в дело не лезь. Оставь старухе, целей будет. И сомневаться не надо.

— Пригодится, Петровна. Чуть чего, блесен наделаю. Давай, давай, не сопи. Делить так делить.— Федор достал с подоконника маленький фанерный чемодан, в котором носил спецовку и который почему-то называл «балеткой».— Сыпь сюда.

— В нем, значит, сдавать понесешь?

— Сдать, Петровна, никогда не поздно. А пока мне интересно стало. С утра на папиросы занимал, а тут привалило. Как это на Алдане говорят: парень при фарте. Вот теперь я кто. Так что сыпь, Петровна.

— Феденька, ну куда мне эти часы? Тяжеленные, полфунта, поди, тянут. Мужчине и носить. Вот и цепь к ним. А мне зачем время? И так знаю, что мало осталось. Давай я перстеньками за них возьму.

— Давай, Петровна. Ты, главное, меньше майся. Штуку — мне, штуку — себе, и все дела.

Поделили, вылезли на свет божий, почистились. Старуха, пряча узелок под жакетку, сказала:

— Теперь, Феденька, вот что. Я тебя не видела, я тебя не знаю. Вас тут вон сколько, всех не запомнишь. А уж про сундучок и слыхом не слыхивала.

— Иди ты! Вот так Петровна! Я не я и хата не моя. Уж больно вдруг, Петровна. Нехорошо. То на коленях вместе ползали, компаньоны, а то вон как.

— Так, Феденька, так. Если сдавать пойдешь, ото всего отопрусь. Запомни.

Федор взвешивал на руке чемоданчик:

— Смотри-ка, тяжеленький... Не пошел ведь еще, не стращай. Петровна, ты лучше скажи, если металл без обмана, что с ним делать-то?

— Совет такой, Феденька. Пусть у тебя теперь полежит. На глаза не лезь с ним и в скупку не лезь — сразу спросят,

откуда столько? Вообще, лучше здесь его не трогай. Подумаешь, присмотришься, куда-нибудь на Кавказ поедешь.

— Петровна, толк-то где? Лежать и в земле мог замечательно.

— Дураком, Феденька, не будешь, так и толк будет. Никуда не денется.

* * *

На улице, поглотав горьковатого, синего мартовского морозца, Федор остыл от дележа и, шагая к автобусу, посматривал уже на случившееся с привычной трезвой усмешливостью: «Ну да. Так вот для тебя и закопали. Пожалуйста, Федор Иванович, гребите золото-бриллианты совковой лопатой. Железки какие-нибудь для смеха натолкали в сундучок — что раньше шутников, что ли, не было. Может, побольше, чем теперь. Да старуха еще тут со своей свечкой, с дрожью этой — конечно, заразишься, у самого руки затрясутся».

Он опять на вытянутой руке покачал-взвесил чемоданчик: «Дома — молчок. Розке знать совсем необязательно. Хоть она у меня и не трепливая, да и любопытничать не приучена, а промолчать все же надежнее»,— и тут же рассмеялся, удивившись, что вот он ничему не верит, может, никакое это не золото, а все равно заставляет к себе приспосабливаться.

Приехал в свое Знаменское предместье, дома, и чая не глотнув, схватил коробку с зубным порошком, побежал в сарайчик, где у него был верстак и где он помаленьку столярничал после работы. Накинул крючок, зажег лампочку, раскрыл «балетку». Взял перстень, изображавший сцепленные в пожатии кисти рук, поплевал на него, посыпал порошком, потер клочком мешковины. «Смотри-ка. Желтеет. Но уж больно жидкая желтизна-то. На бронзу смахивает».

Кто-то подергал хлипкую, тонкую дверь сарайчика. Федор дернулся, захлопнул «балетку», перстень сунул в карман.

— Федя, мне идти пора. «У-ух слава богу»,— стучалась Розка.— Ты чего закрылся?

— Надо, вот и закрылся.

— Петьку покорми. Я там на столе приготовила. И трубу закрой. Смотри не забудь.— Захрустел ледок под ее ногами.

— Будет сделано. «Золотая все-таки баба Розка. Другая сейчас бы: а ну, отвори, а ну, покажи. А эта повернулась да пошла». Роза работала сверловщицей на заводе, всегда по вечерам: «Петькина очередь в ясли была еще «где-то на горизонте и чуть подальше», — любил приговаривать Федор, сменяя жену и оставаясь с Петькой на руках.

Снова открыл «балетку», стер с висков проступившую холодную изморозь. «Славно меня прошибло. Ведь ни одна живая душа не знает, а я уже дергаюсь, как заяц, боюсь, как бы не увидели. Едриттушки. В жизнь никого не боялся. Ладно. Дальше давай пробу снимать». Каждую штуковину потер мешковиной с порошком, и каждая тускло глянула на Федора желтым зрачком. Он ссыпал все это добро в жестяную банку, в которой держал гвозди, сверху заткнул мешковиной, отодрал доску от пола, поставил под нее банку — «свой теперь клад заведу. Может, тоже когда откопают» — и тут услышал, как в доме орет Петька.

Печь давно прогорела, Петька зашелся, аж посинел от крика в деревянной загородке. Мокрый, голодный, с грязным кулачишком во рту. Федор подхватил его, виноватым баском запричитал:

— Тихо, Петенька, тихо. Батька твой ошалел малость. Вместо погремушки все колечки перед тобой развешу. Не реви, Петенька. Скажу: играй на здоровье. Ведьмы полосатые мало ли чем голову не забьют. Уж мы их. Вот так, вот так.— Федор колотил резиновым попугаем по загородке, по столу, себя по лбу. Петька наконец затих, разулыбался, поел каши, попил молока и на боковую. Обычно Федор пристраивался рядом с ним и тоже как проваливался. Только посапывали наперегонки до Розиного прихода.

Сегодня же присел у стола, вяло поковырял картошку с тушенкой. «Нет, не хочу»,— бросил вилку. Понял, что его тянет туда, в сарайчик,— то ли дальше потереть-почистить, то ли просто посмотреть-поперебирать побрякушки. «Побрякушки и есть. Как еще их поиначишь? Вроде бы и пусть лежат, вроде как их и не было. Но да ведь знаю же, что есть. Теперь жмурься не жмурься, а не забудешь. Вот что. Сбегаю я к Василь Сергеичу. Мужик надежный, к тому же бухгалтер — все ходы и выходы знает. Точно. Василь Сергеич пораскинет, пораскинет да что-нибудь дельное и вытащит».

Забежал в сарайчик, прихватил горсть «погремушек» и поспешил на соседнюю улицу к Василию Сергеевичу. Они жили у него в квартирантах, когда приехали с Витима, когда Роза ждала Петьку и домовладельцы в городских предместьях говорили «нет», даже не открывая ворот. А Василий Сергеевич пустил, правда, в узенькую, тесную, похожую на чулан, боковушку, и брал втридорога, и кухней пользоваться не позволял, но пустил. При этом уважительный всегда был, с поучениями да советами не лез, но уж если советовал, неторопливо пожевывая чистенькими бледными губами каждое слово, то уж и

отец родной, может, так бы не посоветовал. Вот и теперешний их угол он им высмотрел, уговорил уезжавшую племянницу именно им продать. Дороговато, конечно, уговорил, но зато крыша теперь своя.

— Здравствуйте, Василь Сергеич,— вроде и негромко поздоровался, но такая чистая, проветренная тишина устоялась над блестящими полами, над белоснежными занавесками и розовыми бумажными цветами на буфете, что слова прогрохотали, булыжниками рассыпались — спугнули кота с коврика у ног Василия Сергеевича, и вроде даже газетные листы затрепетали у него в руках.

— Равным образом, Федя.— Василий Сергеевич встал, аккуратно свернул газету и пошел к порогу встречать гостя.— Раздевайся, Федя, милости прошу. Давненько мы не виделись, за самоваром не сидели. Не украшали, так сказать, досуг дружеской беседой.

Он повесил Федорову телогрейку на гвоздик у двери — вешалка была чуть в стороне,— для чего приподнялся на цыпочки — был Василий Сергеевич маленький, щуплый, но с большой головой и затылок — заметным клином.

— Как здоровье супруги? Так сказать, дрожайшей половины? Ну, и слава богу. Сам, вижу, здоров, и видеть это, признаюсь, радостно. Как работаешь, Федя? Вот и хорошо, что не жалуешься. Значит, и место по тебе и заработок подходящий.— Василий Сергеевич вздохнул: обычно Федор приходил к нему занимать перед авансом или получкой, а занимать Василий Сергеевич не любил. Отказывать не отказывал, но мучился при этом изрядно.

— Василий Сергеич, можно теперь я спрошу.— Федор выгреб погремушки из кармана, положил на стол.— Что это такое, по-вашему? — Запоздало спохватился: — А хозяйка дома?

— Хозяюшка моя, как пчела, трудилась весь божий день, а теперь, так сказать, почивает. Время-то, Федя, позднее, а ты и не заметил,— укорил Василий Сергеевич, косясь на горстку металла и доставая из буфетного ящика очки.

Долго рассматривал.

— Осмелюсь предположить, Федя, что это очень старинные вещи, так сказать, старинные предметы роскоши.

— Золотые?

— Вне всякого...— Василий Сергеевич еще повертел, попересыпал, только на зуб не пробовал.— У меня лично сомнений нет. Могу, конечно, ошибиться, но... нет, нет. В каких же пещерах, Федя, ты откопал эти, так сказать, златые горы?

— Да в доме одном...— Федор не хотел врать, но помялся, помедлил и на всякий случай приврал: — Чулан один разбирал. Случайно вот посыпались. Что с ними делать-то, Василь Сергеич?

— А давай подумаем, Федя. Я к тебе с полным, так сказать, расположением. Посидим за рюмочкой настойки, подумаем.

Посидели, подумали, выпили по рюмочке полынной. Зарозовели щеки у Василия Сергеевича, и от этого он стал еще как-то опрятнее, уютнее. Пожевал губами:

— Вряд ли тебе следует торопиться, Федя. Береженого, так сказать... Тебе, как я понимаю, металл нужно переплавить в деньги. Если фигурально, конечно. В скупку опасно, если допустить даже, что ты не сам туда понесешь... Итог один, Федя, не торопись. Если уж гибнуть, так сказать, за металл, то очень осмотрительно. А теперь, Федя, он не пропадет. Пришло ему время объявиться, объявятся и жаждущие.

— Совершенно правильно, Василь Сергеевич. Спасибо.— Федор встал, чуть затуманенный от полынной. «Ясно, вам некуда торопиться. Ни тебе, ни старухе. До могилы — шаг. А мне еще далековато, мне ждать некогда. Не тот совет, Василь Сергеич. Сами еще покумекаем».

— Федя, у меня нет больших денег, так сказать, бешеных. Но вот этот перстенек я бы мог у тебя приобрести. Драгоценной моей — драгоценность... М-да... И о тебе бы благодарная память.

— Так я не знаю, Василь Сергеич.— Федор растерялся, повертел перстенек с прозрачным камушком перед глазами.— Сколь брать, не знаю.

— Ну, Федя. Ты — хозяин, твоя и цена.

— Да черт его знает. Я же не прицenялся никогда. Ладно, Сергеич. По старой дружбе. Литр коньяка и — бери.

Василий Сергеевич взволнованно прикашлянул:

— Литр коньяка... это... если не ошибаюсь, рублей двадцать.

— Точно.

Он торопливо достал из буфета четвертной билет, протянул Федору.

— Сдачи нет, Сергеич.

Василий Сергеич замахал руками: ладно, ладно, но пока помогал Федору натянуть телогрейку, пока прощался, опомнился, успокоился.

— Как-нибудь занесешь, Федя.

— Само собой.

* * *

Утром, когда присели перекурить с ребятами перед тем, как разобрать инструмент и разойтись по особняку, в дверях бытовки замаячила старуха, поманила Федора пальцем:

— Феденька, я к тебе с просьбой великой.— Увела его во вчерашнюю комнату, показала заранее спрятанную в кулаке сережку — маленький кленовый листик, тоже отчищенный до ранней осенней желтизны.— Пары, Феденька, нет. У тебя вторая-то. Видел, нет ее?

— Во-первых, Петровна, кто меня собирался в упор не видеть и слыхом обо мне не слыхивать? Во-вторых, никаких сережек у меня нет, и вообще ничего нет. Ясно?

— Феденька, кто старое помянет... Сгоряча же все — ведь никаких уже нервов не хватало.— Старуха неожиданно плаксиво заныла.— Уж не сердись. Голубчик, уж Христом прошу, посмотри — позарез она мне, Феденька. У внучки свадьба скоро — подарить хочу.

— Так и быть, посмотрю. А вместо нее что припасла?

— Да чего уж, Феденька, рядиться-то? По-свойски и отдай. Куда она тебе? В нос проденешь?

— Петровна, не придуривай, пожалуйста. Знаю, куда продеть. Тебе надо, не мне. Вот и предлагай.

Старуха рассмеялась — продольные, глубокие морщины на лице пошли в стороны ребристыми мехами гармошки.

— Короче, Петровна. Пока, между прочим, работать надо. А то с золотом твоим без куска хлеба останешься. Само собой, и без глотка.

— Феденька, я ведь могу сбегать. Какую тебе — беленькую, красненькую?

— Не-ет, Петровна. Баш на баш, и дураков нет.

— Все, все, Феденька. Ты уж только посмотри.

Он не помнил, попадала ли ему на глаза эта сережка, хотя вроде каждую фиговинку перетер, пересмотрел. «Лопатой-то я этот сундучок крепко шибанул, может, что и по сторонам разлетелось. Старуха, наверно, всю ночь на коленках ползала, проверяла. А может, не догадалась. Мне, что ли, попробовать еще порыться? Не, ну его к черту. Буду как последний марамой пыль глотать, вынюхивать — никакое золото этого не стоит. Вообще, к одному делу два раза лучше не подступать. Нет, нет, нет. Не хватало только на коленках там горбатиться — упираться и без этого сегодня вдоволь придется. Надо старуху надоумить. Ей делать нечего, пусть, как минер, пыль просеивает. А у меня и своего дела по горло». Тем не менее еще перебрал в памяти весь запас — сережка не на-

ходилась, и Федора потянуло в сарайчик, к верстаку, на котором разложить бы собственные свои вещицы и с каждой бы обойтись обстоятельно, с бережной пристальностью.

Вечером, у дома, встретил Розу,— она уже уходила на смену.

— Там тебя этот ждет, ну, техник-то зубной, Володька. Ты чего опоздал?

— Да автобусы эти. «Ясно, Василь Сергеич уже сработал. Навел». Петька нормально?

— Сегодня опять и «папа» и «мама» говорил. Я белье стирала, на чердаке повесила, сними.— Роза поправила черный шерстяной платок, которым была глухо подвязана,— показалось Федору, что глаза ее смотрят из-под черного шалашика устало и даже болезненно, без обычного ровного и влажного блеска.

— Тебя, может, встретить сегодня? — пожалел он жену: у него вот и золото появилось и интересы вокруг него всякие. А она, как мотор, тянет и тянет.

— Зачем? — Роза покачала головой.— С девчонками добежим. Мы же всегда компанией — не страшно.

— Добежите, так беги. Ты завтра попроси-ка тетю Нину посидеть с Петькой пару часов. На сверхурочные оставляют.

— Опять, наверно, еле тепленький будешь?

— Ну, еще чего. Твое дело попросить.

— Ладно.

Появился, значит, Вова-Мост — под таким прозвищем знало зубного техника Знаменское предместье. Техник любил в застолье или в пивной у Курбатовских бань спрашивать соседей: «Зубной гимн знаете? Эх, люди, дерево-мочало. А ведь какая профессия! Без нее ни съесть, ни спеть. Никакого уважения. Просвещу». Тенорком затягивал, щуря наглые рыже-голубые глаза: «Мосты, мосты, зачем вам надо с любимой разлучать меня?» — и, широко разевая рот, стучал ногтем по своим золотым мостам: «Вот где все разлуки-то!» Или приставал к кому-нибудь в той же пивной: «Покажи прикус, ну, покажи. Специалист просит. Так, хорошо. Прикус нормальный, закусывать можешь»,— и опять ржал громко и пусто. Дурака валял, ерунду всякую городил, а парень, видно, был хваткий: и машину купил, и каждый год в теплых краях отдыхал.

— Здорово, пролетарий! — Вова-Мост отошел от Петькиной загородки, протянул веснушчатую рыжую руку.— А я тут с наследником твоим гугукаю. Веришь, нисколько не разучился. Может, усыновишь, а, Федя? Покажи прикус.

— Что скажешь? — Федор не любил техника и, разуваясь, сел к нему спиной.

— Федя, ты же с работы, не с похмелья. Почему такой кислый? Ты отдыхай, отдыхай, а я сделаю твой отдых разумным.

— Ты уйдешь, а я прилягу. Вот и отдохну.

— Не буду тебя стыдить и делать вид, что у меня бездна времени. Кое-что заимел, Федя, или мне наврали?

— Кое-что.— Федор почувствовал, как вмиг разрослось, заполнило грудь теплой, приятной ленцой какое-то важное, покойное довольство — он не знал этого чувства раньше и удивился ему, но быстро догадался, что принесло его это Вовино «кое-что»,— такое серьезное, уважительное, подразумевающее и его, Федорову, значительность.

— Если возникло желание, Федя, покажи и разумно поделись.

— Новостями я могу с тобой поделиться.

— Ну, Федя, не придавай значения словам. Я их часто путаю. Разумно уступи.

— Тогда посиди малость. Еще погугукай с Петькой.

Федор пошел будто бы в уборную, боясь Вовиного любопытства и наглого глаза, проверил через щель в досках, что тот не подсматривает в окно, и юркнул в сарайчик. Хотел отнять у длинной и толстой цепи несколько звеньев, но в спешке не мог найти стык, и отхватил эти звенья зубилом.

Вова-Мост, прикинув на ладони пыльно-желтые, легонько позвякивающие витые «восьмерки», полез в карман, достал две коробочки: с гирьками и с маленькими, вроде бы игрушечными весами. Пока он молча и нахмурив рыжие брови взвешивал, Федор спросил:

— Кольцо можешь сделать? Вот на этот палец. Широкое, толстое, в общем, такое видное?

— Хоть на ногу, Федя. Если возникло желание.— Вова убрал весы, гирьки.— Здесь, Федя, потянуло на триста рублей. В домашних условиях обычно работаешь со скидкой, но за твой материал я готов выплатить от рубля до рубля. Готов ли ты, Федя?

Федор, сглотнув горячую, колкую слюну, кивнул.

Вова-Мост отсчитал деньги и ушел.

Федор закурил, сел на пол, привалился спиной к Петькиной загородке. Петька сразу же ухватил в кулачки отцовы волосы, потные и жесткие.

Он считал, что видывал-таки большие деньги: и когда с топографами ходил по колымским гольцам и со всякими колесными, полевыми, да с поясным коэффициентом накручивало прилично — на хлеб с маслом бывало да еще и оставалось; и на Витиме на скальных работах получал больше, чем тра-

тил, но чтобы вот так, за пять минут, за какие-то пыльные обрывки тебе выложили пачку красненьких — несколько ошалел Федор и, хоть Петька больно тянул за волосы, не сразу опомнился.

«Едриттушки. Месяц с лишком за такие денежки упираться надо. А тут — бах тебе! — тринадцатую зарплату. Досрочно. Только пересчитайте, Федор Иваныч. И даже не расписывайтесь. Да еще этот рыжий хрен наверняка надул меня, он разве хоть копеечку свою упустит. Значит, стоило дело. Ну, Феденька, теперь эти бумажки хоть чем ешь. Вот лежат себе, не шелохнутся. А я хоть как сомну и хоть как засуну. Вот так вот — сгреб и в карман. Будто семечки».

Еле дождался утра и, когда бригада собралась в бытовке, сказал:

— Мужики, сегодня не разбегайтесь. Федору Иванычу, то есть мне, тридцать лет. Дата круглая, потому приглашаю-угощаю.— День рождения у него был осенью, но другой зацепки не подвернулось, а желание посорить «семечками» было нестерпимым.— Здесь вот соберемся и хором сразу двинем.

— А что ж ты молчал? Мы хоть бы скинулись.

— А вот, чтобы зря не гоношились, и молчал. Но сам го-то-вил-ся. В стекляшечку напротив «Рыбного» и пойдем.

— В стекляшечке же вермут один да коньяк. Может, с собой захватим, а закусь уж тамошняя.

— Никаких с собой. В жизни раз бывает... Я готовился и за все отвечаю. Что пить, что есть — моя забота.

Мужики развели руками, но днем Федор видел — шушукались, бегали, рылись в карманах — видно, сбрасывались на подарок.

* * *

Назавтра, нянчась с Петькой, Федор говорил:

— Знатно твой батя вчера гульнул. До сих пор душа звенит. И тебя не забыл — вон какую игрушку принес.— В загородке лежала деревянная кружка с выжженной надписью: «Феде в день рождения от товарищей по бригаде».— Мать только недовольна, рано, говорит, начал именинничать, осенью, говорит, пятидесятилетие можно справлять, если так пойдет. Ну, это ладно — работать злее будет. А мы с тобой давай посидим да рассудим все честь по чести.— Он поставил Петьку в загородку, а сам уселся за стол, облокотился, уставился в чисто промытые розовые цветочки на клеенке.

«Триста рублей, конечно, не велики деньги. Пятнадцать мужиков вечер посидели, на такси разъехались, и на пиво не

осталось. Можно было, к примеру, телевизор купить. Но есть он у нас, разве только еще один в сортир поставить? Мог бы себе костюм и Розке — костюм или платье шикарное, блескучее да трескучее. Но тут-то бы врать потяжелее было: откуда взял, на какие шиши купил? В спортлото выиграл — так третий год играю и все мимо. Ну, положим, один раз выиграл, а если мне каждый вечер по триста рублей будут давать — тут куда денусь? Такие везучие обычно за решеткой кукуют. Да и в стекляшечке каждый вечер не посидишь — с чего, спросят, мужик разгулялся? На трудовую копейку коньяки-вермуты хлещет? Не-ет, не пройдет.

Может, сказать, что наследство получил? От бабушки, от дедушки, от троюродной тети. А куда детдом денешь? Был, был сирота, и вдруг родня объявилась да еще наследство отваливает? Скажут, долгонько что-то, Федор Иваныч, родная кровь тебя не признавала. А потом это не про день рождения ляпнуть-соврать. Тут так тонко сочинять надо — с похмелья не придумаешь».

В дверь постучали, и вошла Агнесса Емельяновна, заведовавшая детским садом в Знаменском предместье.

— Здравствуй, Федор, добрый вечер! — говорила она звучным, густо-звучным голосом.— Сегодня Розу видела с вашим малышом. Уж очень славный мальчишечка. Зашла еще посмотреть,— протянула Петьке целлулоидную лошадку.— Держи, дружок. Ох ты, какая чудная мордашечка!

Остановилась у загородки, высокая, белолицая, в легкой, уже весенней шляпке, опушенной соболем, в легкой же каракулевой шубке, из-под шляпы на лоб вырывались два крутых золотисто-русых завитка. В комнатенке Федоровой запахло талой водой, какой-то дальней, смутно наплывающей сиреневой свежестью. Федор обмахнул табуретку, еще и обдул ее и почему-то поставил посреди комнаты.

— Садись, Агнесса Емельяновна.

Расстегнула шубку, села.

— Не надоело домовничать, Федор? — посмотрела на него черно-голубыми строгими глазами, а он мялся перед ней, как детсадовец, забыв даже сесть: «Едриттушки. Вот уж не ждал, не гадал. Смотреть на нее, и то как-то не по себе — вон она какая вся. А тут сама пришла». Улыбнулась: — Что ж ты стоишь? Вся правда, наверно, в ногах?»

Федор несколько опомнился:

— Кого-кого, а тебя не ждал. Как с твоей улицы переехали, так тебя и не видал.

— Незваная, значит, гостья...— Губы остановились в полуулыбке, сочно выделенные темно-алой помадой. Опустила гла-

за, доставая из сумочки блокнотик и карандаш.— Роза жаловалась сегодня, что очередь ваша в ясли не двигается. А я забыла данные о малыше записать. Может быть, удастся помочь.

Федор почти не слушал ее, а смотрел, как она говорила, как черкала белой, с красными ногтями рукой в блокнотике, как улыбалась белыми, влажно блестевшими зубами. «Вот баба так баба! Все в ней ладно, складно, и белая-то какая, и свежая-то, и шея какая гладкая — пава да и только, по-другому и не скажешь». Хоть и жили они в соседях, а вот так близко он не видел Агнессу Емельяновну и не разговаривал так близко — все то через дорогу, то через забор, всегда, конечно, отмечал, что очень она завидная женщина, да ему что от этой «завидности»... Все равно не подступиться, не подъехать. Жила она с мужем, без детей, говорили, приехали с Севера, работали будто бы на алмазах и приехали с большими деньгами — так оно, видно, и было, потому что и дом хороший купили и одевались хорошо. Муж ее устроился шофером в какую-то контору по дальним перевозкам, а она вот садиком пошла заведовать.

— Совершенно правильно,— сказал Федор и понял, что невпопад, потому что Агнесса Емельяновна удивленно переспросила:

— Что «совершенно правильно»? Я говорю, что с яслями помочь очень трудно, почти невозможно. Поэтому я ничего не обещаю. Но попробую.— Агнесса Емельяновна встала, застегивая шубку.— К тому же и Василий Сергеич очень за тебя просил.— Голос у нее значительно погустел.

«Ясно,— вдруг расстроился Федор,— и ей успел... Ваш малыш, мордашечка чудная... Эх! Зашла бы ты, как же!» — Он молчал, с силой, со скрипом стирая что-то ладонью с клеенки.

В сенях она сказала:

— В гости бы заходил.— Густо и звучно хохотнула.— С ответным визитом. Или просто так. Совсем разучились в гости ходить. И не знаем поэтому, кто чем дышит.

— Да не знаю, спасибо, как-нибудь...

Тогда она прибавила, посчитав, видимо, Федора за полную темень и бестолочь:

— Такая все-таки скука. Моего-то опять на два месяца с грузом отправили. Чаю, честное слово, не с кем попить. Приходи, Федор. И собираться долго нечего — две улицы пройти.

— Приду,— твердо сказал Федор. Ему стало интересно, как все это будет.

Пришел в тот же вечер. Только убаюкал Петьку да забежал в сарайчик, захватил браслетик с красными камушками.

На Агнессе Емельяновне был пушистый розовый халат с широким темно-вишневым бархатным воротом и витым, вишневым же пояском.

— Федор, ты молодец! А то я уж от скуки лечь хотела. И чай не стала пить. А теперь закатим пир. Ничего, что я в халате? Конечно, по-домашнему. И ты, кстати, пиджак можешь снять. И тапки вот надень — чувствуй, в общем, себя как дома.

Когда Федор немного отмяк от чая и вина, он, снисходительно щурясь, решил: «Хищная, конечно, баба, но красоты-то ведь, ей-ей, не убавить»,— и достал браслетик:

— Вот я гостинец-сувенирец припас для тебя.

Она надела браслет, отвела руку: от стекающего золотого блеска и кроваво замерцавших камушков припухло-белое запястье стало тоньше, хрупче, нежно удлинив белую кисть.

— Боже мой! Федор! — Она кинулась к нему, поцеловала с налету — в губы, в губы, обняла, прижала голову к груди. Он подумал, какой у нее бархатистый, душистый халат, и больше ни о чем думать не стал.

Потом она включила ночник, принесла поднос с вином и конфетами, поставила в изголовье, на подоконник, завела пластинку, сказав:

— Послушай мою любимую, Федор,— и легла рядом, не закрываясь. Он зажмурился: «И долго она так выставляться будет?»

Голос на пластинке, низкий, полный мрачной силы, пел:

Ох, да бирюзовые, золоты колечики,
Да раскатились по лужку.
Ты ушла, и твои плечики
Скрылися в ночную тьму.

Глаза у Агнессы Емельяновны были закрыты, и она вроде бы подрагивала в такт песне белыми, пышными, какими-то пенными плечами. Федор быстро перегнулся через нее, стараясь не задевать, и хватанул вина. «Хоть глаза смелее станут, а то что-то совсем пропадаю».

Забыл однажды заглянуть в сарайчик, а вернуться поленился. «Ничего, и такого примет. Без гостинца. Сколько она меня целовала — живого места нет. Каждый поцелуй, считай, золотой. Если на каждое место колечко прикладывать или другую какую блямбочку, я сам уж из чистого золота. Да уж и привыкла, наверно, ко мне. Уж и без золота хорош. Вон ведь как бесится».

Когда уходил, Агнесса Емельяновна лежала, привычно уже белея открытым телом. Он натянул пиджак, закурил на дорожку.

— Федор, ты ничего не забыл?

Огляделся: нет вроде.

— Сегодня ты такой скупой. А-я-яй! — Голос ее был полон дневной звучности и густоты.

— А-а,— догадался Федор.— Совершенно правильно. Забыл. Ну, да за мной не пропадет.

— Хорошо, запомню, Федор.— Она перевернулась на живот, покачала свесившейся рукой.— Должок запишем. Вот так, Федор. А сам говорил: для милого дружка и сережку из ушка...

— Ты серьезно, что ли?

— Вполне.— Она даже не косилась на него, а смотрела на свою свесившуюся руку, будто действительно записывала что-то на полу.

— Серьезно-серьезно?!

— Повторяю: задаром я бы кой-кого получше могла найти.

— Ну и тварь же ты! — Федор, сузив глаза, опять огляделся.— Ну и тварь!

— От твари слышу.

Через стул свешивался широкий ремень от ее юбки. Федор схватил его и с маху, пряжкой, вкатил по розовым, гладким, живым подушищам. И раз и другой.

* * *

Темным был Федор наутро. Встал рано, покружил по двору, зашел в сарайчик, достал из-под половицы жестяную, заветную. Побренчал, посмотрел: «Убыло, конечно, но еще на трех Агнессок хватит. Ну, тварина — мало я ей врезал. Человека для нее не было, так, дурак один золото потаскивал. Да как же так? Ведь и разговоры говорили, не только пластинки слушали да на кровати валялись. Что-то же и по-людски было! Нет, Федор Иваныч, ничего не было. Не золото бы, так разве я с такой тварюгой связался? Что вот оно со мной делает, а! В морду из-за него наплевали, а я толком и утереться не могу, то есть в самом во мне будто и никакой цены нет. Будто без золота и не жил и ничего не делал. Дураку надо было сдать с самого начала, положенное прогуляли бы, и дело с концом. А теперь ведь не пойдешь — скажут, где ты раньше был? С Агнессой бирюзовы-золоты колечики раскатывал? Но и с ним оставаться — опять куда-нибудь затянет,

опять в синяках. Оплюют, а потом вертись, крутись, криком кричи: я и без золота человек. Не хочу!»

В этот день он впервые заглянул в скупку.

Никакой жизни у Федора не стало, занятого одним: как скорей опустошить жестяную банку в сарайчике. Избавиться, избавиться — пошел к старухе, к компаньонке с лицом-гармошкой, думал, возьмет остатки, позарится, но Федору сказали, что старуха комнату сдала и уехала в другой город к внуку или внучке, в общем, к каким-то родственникам. «Новую жизнь Петровна затеяла. С капиталом, на новом месте: посмотрела бы на меня, дурака, поиграла бы на своей гармошке. А вот как же мне-то новую начать?»

Засветло возвращался с дебаркадера, снова посидев-подгуляв над речною волной — в глазах до сих пор мельтешили золотистые светлячки от солнечных наплывных дорожек, и догонял, не отставал звук частых и сочных всплесков, стоявший за ресторанным окном. Вроде даже как покачивало от него. Густо, снеговой еще водой, пахла майская трава: солнечные лучи, падавшие уже из-за реки, принесли запахи прогретого осинника — Федор, неожиданно расчувствовавшись, остановился у перехода, осоловело причмокнув, вдохнул эту благодать: «Все-таки можно жить. Еще как можно, Федор Иваныч!»

Прямо на него, через улицу шли парами детсадовцы, совсем маленькие, пискливо щебетавшие — малышовая группа, наверное. «Вот и мой орел дожидается батю. Пузыри пускает»,— вздохнул-всхлипнул Федор. Хотел помочь воспитательнице управиться с лужей у тротуара, вошел в эту лужу, замахал на ребятишек: «А ну, кыш, кыш! Ножки свои не замочите! Чтоб мамки не переживали!»

Воспитательница, испуганно подгоняя ребятишек, выговорила Федору:

— Гражданин! Хоть бы детей постыдились!

— Да ты что, подруга! Да я для них что хошь! Ничего не пожалею! Да для ребятишек-то! — Федор топтался в луже, обращаясь к прохожим и домам, желая немедленно доказать, что он для ребятишек все сделает.

И тут прочитал над одним из подъездов: «Отделение Госбанка». «А-а! Вот сейчас увидите!» — победно вскричал Федор и направился в подъезд. Выгреб из кармана какие-то колечки, цепочки, которые были с собой, брякнул в окошечко.

— Вот! Сдаю! На живой уголок ребятишкам,— наклонился к окошечку, попробовал просунуть голову.— Так и запишите. От бывшего детдомовца. Чтоб живой уголок завели. С белками и этими, бурундуками.— Старый очкастый милиционер оттянул его от окошечка.

— Ну-ка, не хулигань! Ты тут чего потерял? Пятнадцать суток? Кто такой?

— Отец! Да я для ребятишек все отдам.— Федор Иваныч я. Желаю жертвовать... Все, все ребятишкам.

* * *

На другой день Федора вызвали в ОБХСС. Молодой человек с серым, нездоровым лицом спросил:

— Откуда золото?

Федор рассказал.

— Поехали, проверим.

Роза выбежала во двор:

— Заболел?! Федя!

— Да нет. Тут вот, с работы. Надо пилу взять,— пробурчал Федор, не глядя на молодого человека. Ладно хоть тот в штатском был.

Забрали жестяную коробку, вернулись в управление.

— И кольцо снимай.— Молодой человек кивнул на широкое, толстое кольцо, произведение зубного техника Вовы-Моста.

— Квитанции из скупки есть?

К счастью, были. Молодой человек так и сказал:

— Твое счастье, что государству сдавал. Другие тайники есть?

— Нету.

— Пока иди, а там посмотрим. Вот о невыезде подпиши.

Вечером Федор говорил Петьке:

— Слава богу, Петька. Освободился твой батя. Как-никак, а освободился. Что уж дальше выйдет, не знаю, но такого тарарама, Петька, не будет... Даже матери твоей перстенька не оставил. Э-хе-хе! Ну да, добра-то от него бы не было. Как считаешь?

Петька улыбался отцу и, быстро-быстро, безостановочно приседая, прыгал, уцепившись за край деревянной загородки.

СОДЕРЖАНИЕ

Вячеслав Максимович Шугаев
БИРЮЗОВЫЕ, ЗОЛОТЫ КОЛЕЧКИ

Редактор Ю. С. Новиков.

Технический редактор З. П. Кузнецова.

Сдано в набор 28.05.80. Подписано к печати. 27.08.80. А. 00410.
Формат 70×108 1/32. Бумага газетная. Гарнитура «Новогазетная».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 2,94. Тираж 100 000.
Изд. № 2044. Зак. № 2502. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.



Цена 20 коп.

Индекс 70668



«СПОРТЛОТО» «6 ИЗ 49» И «5 ИЗ 36»





Тиражи по субботам.

Выигрыши от 3 до 10 000 рублей.

Для угадавших 4 и 5 номеров в лотерее «6 из 49» разыгрывается льготный шар.

К выигрышу на 4 номера он добавляет 25 рублей, на 5 номеров—1000 рублей.

Все карточки бестиражные. Их можно заполнить на любой тираж года и даже на несколько тиражей вперед.

Сроки опускания частей «Б» и «В» карточек к предстоящему тиражу указаны на ящиках «Спортлото».

Карточки, опоздавшие к указанному на них тиражу, участвуют в следующих тиражах, а опоздавшие более чем на один тираж, принимают участие в последнем тираже квартала.

Доходы от спортивных лотерей идут на развитие физкультуры и спорта.

Желаем удачи!

Главное управление спортивных лотерей